

Митрополит Иларион (Алфеев)

# Евангелие Достоевского

## Оглавление

Предисловие .....	2
Глава 1. Евангелие Достоевского .....	3
Детство .....	4
Юность .....	5
«Бедные люди» .....	7
Встреча с Белинским .....	7
Петрашевцы .....	10
В Мертвом Доме .....	12
Ссылка .....	15
Эпилепсия .....	16
Снова на свободе .....	17
«Преступление и наказание» .....	18
Глава 2. В поисках положительного героя .....	21
Своеобразие героев Достоевского .....	22
Князь Мышкин .....	22
Поиск Христа .....	24
Достоевский и Толстой .....	27
Мышкин и женщины .....	29
Деньги .....	30
Трагедия «идиота» .....	31
Глава 3. Демоны русской революции .....	32
Пушкин — русский пророк .....	32
Революционное движение в России .....	34
Бесы русской революции .....	36
Ставрогин .....	37
Прототипы Ставрогина .....	39
Петр Верховенский .....	41
Шигалев .....	42
Кириллов .....	42
Шатов .....	43
«У Тихона» .....	44
Развязка .....	45
Глава 4. На пороге бессмертия .....	47
Старец Зосима .....	48
Семейство Карамазовых .....	53
Иван .....	54
Дмитрий .....	57
Алеша .....	58
Христос .....	62
Смерть Достоевского .....	66
Послесловие .....	68
Приложение. Достоевский на Женевском озере .....	70

## Предисловие

Это был не только апостол... это был пророк; это был всему доброму учитель; это была наша общественная совесть». Так через несколько дней после смерти Достоевского писал о нем коллекционер и меценат Павел Третьяков в письме художнику Ивану Крамскому.

Прошло 140 лет со дня кончины Достоевского и 200 лет со дня его рождения. О нем написаны сотни книг и тысячи статей. Но для многих он продолжает оставаться загадкой.

Название этой книги — «Евангелие Достоевского» — имеет двойной смысл. Речь в ней пойдет не только о том Евангелии, которое он всю жизнь читал, но и о том, которое писал. Ибо его творчество было «благой вестью» для русского народа — пророческой и апостольской вестью о спасении через Христа.

Достоевский — один из самых сложных для понимания русских писателей. Как никто другой, он заставляет читателя думать, ставя вопросы и не давая на них прямые ответы. И Евангелие — один из ключей, при помощи которых открывается мирозерцание Достоевского. А сочинения Достоевского могут для кого-то стать ключом к открытию для себя Евангелия.

Итальянская исследовательница С. Сальвестрони посвятила целую книгу библейским и святоотеческим источникам в творчестве Достоевского. Она отмечает особую роль, которую Евангелие играет в жизни героев его романов: «Раскольников, Ставрогин, Степан Трофимович, Ипполит, Алеша просят почитать или слушают чтение евангельского текста в те критические моменты, когда им необходимо выяснить что-то самое важное в своем существовании и когда они не могут этого сделать самостоятельно. Для каждого из них цитата из Евангелия является уже знакомым текстом, наполненным понятным им смыслом. Однако каждый герой слышит отрывок так, как будто он адресован именно ему и только ему».

В изданном недавно в Тобольске трехтомнике «Евангелие Ф. М. Достоевского» второй том целиком посвящен выявлению новозаветных цитат и аллюзий в произведениях Достоевского. Эта грандиозная и кропотливая работа, проведенная Б. Н. Тихомировым, демонстрирует глубокое знание Достоевским всех книг Нового Завета, включая четыре Евангелия, Деяния апостольские, послания Павла, Соборные послания и Апокалипсис. Романы Достоевского буквально пересыпаны библейскими текстами, в особенности — цитатами из Евангелия.

В русской литературе Достоевский стоит особняком. Он ни на кого не похож. У него почти не встречаются пейзажи, его мало интересует быт. Все его внимание поглощено решением вечных вопросов человеческого бытия, чем круглосуточно занимаются основные персонажи его романов. Он проникает в тайники человеческой души, в ее самые потаенные уголки и глубины, извлекая на свет то, что обычно находится в темноте.

Почти в каждом его произведении сюжет вращается вокруг преступления, которое сначала тщательно готовится, потом совершается, затем расследуется. Преступление никогда не остается без наказания, хотя наказание не всегда бывает адекватно преступлению, а иногда за преступление одного может понести наказание другой.

Человек стоит в центре творчества Достоевского. «Люди, люди — это самое главное. Люди дороже даже денег. Людей ни на каком рынке не купишь и никакими деньгами, потому что они не продаются и не покупаются». — говорит он в «Дневнике писателя». Но людей он рассматривает, прежде всего, в христианской перспективе, обращая внимание на самое главное: то, как каждый человек позиционирует себя по отношению к Богу и по отношению к другим людям. Христианский духовно-нравственный идеал становится главным критерием, по которому писатель оценивает своих героев.

В настоящей книге христианское мировоззрение Достоевского рассматривается на фоне его биографии и на основе четырех его романов: «Преступление и наказание», «Идиот», «Бесы» и «Братья

Карамазовы». В качестве дополнительных источников привлекаются другие его произведения, в том числе роман «Подросток», «Дневник писателя», письма и записные книжки, а также воспоминания о Достоевском его родственников и друзей. Творчество писателя представлено в общем контексте русской литературы XIX века и общественно-политической ситуации России его времени.

## **Глава 1. Евангелие Достоевского**

Я — дитя века, дитя неверия и сомнения до сих пор и даже... до гробовой крышки. Каких страшных мучений стоила и стоит мне теперь эта жажда верить, которая тем сильнее в душе моей, чем более во мне доводов противных. И, однако же, Бог посылает мне иногда минуты, в которые я совершенно спокоен; в эти минуты я люблю и нахожу, что другими любим, и в такие-то минуты я сложил в себе символ веры, в котором все для меня ясно и свято. Этот символ очень прост, вот он: верить, что нет ничего прекраснее, глубже, симпатичнее, разумнее, мужественнее и совершеннее Христа.»

Так в феврале 1854 года Федор Михайлович Достоевский писал Наталии Дмитриевне Фонвизиной, жене одного из декабристов, последовавшей в Сибирь за своим мужем. За четыре года до этого, когда Достоевский, приговоренный к каторжным работам, прибыл, закованный в кандалы, в Тобольский острог, она вместе с двумя другими женами декабристов — Ж. А. Муравьевой и П. Е. Анненковой — добилась разрешения встретиться с осужденными, проходившими по «делу петрашевцев». Каждому из осужденных при встрече был вручен экземпляр Нового Завета — единственной книги, которую разрешалось держать и читать на каторге.

Что-то особенное открылось Достоевскому через чтение Евангелия, что навсегда приковало его духовный взор к личности Христа. И вот сейчас, когда каторга позади и Достоевский ожидает отправки в Семипалатинск для прохождения там военной службы в чине рядового, он рассказывает Фонвизиной о своем «символе веры», который был не просто вычитан им из подаренной книги: он был выстрадан страшным опытом каторги.

Экземпляр, подаренный Достоевскому Фонвизиной, представлял собой первое издание русского перевода Нового Завета, сделанного под руководством протоиерея Герасима Павского и под общим наблюдением архиепископа Филарета (Дроздова), впоследствии митрополита Московского и Коломенского. Перевод увидел свет в 1823 году, в царствование императора Александра I, за два года до восстания декабристов. До появления этого перевода Евангелие можно было читать только по-славянски, образованное же сословие, включая самого императора, читало его по-французски.

Достоевский не расставался с этой книгой ни на каторге, ни в последующие годы. Она была не просто его настольной книгой, она была книгой всей его жизни. Все его произведения, написанные после каторги, пересыпаны цитатами из Нового Завета, аллюзиями на тексты Священного Писания. Многие евангельские образы лежат в основе его философских воззрений, многие изречения Христа становятся отправной точкой в рассуждениях героев его романов. Достоевского невозможно понять без понимания той исключительной роли, которую сыграло Евангелие в его творчестве и жизни.

«В мировой литературе было немало писателей, которые превосходно знали Священное Писание, изучали его, использовали идеи и образы в своем творчестве. Но вряд ли найдется кто-либо еще, кто, как Достоевский, не только четыре года читал только одно Евангелие, но пережил и прожил его как свою судьбу — страдания, смерть и воскрешение Христа как свою смерть в Мертвом Доме и свое воскрешение в новую жизнь», — пишет В. Н. Захаров.

## Детство

Достоевский был воспитан в православной вере. «Я происходил из семейства русского и благочестивого... Мы знали Евангелие чуть ли не с первого детства», — вспоминал он.

Дед Федора Михайловича, Андрей Григорьевич Достоевский, был священником на Украине, в Каменец-Подольской губернии. Отец, Михаил Андреевич, окончил духовную семинарию, потом приехал в Москву, получил медицинское образование. Служил лекарем в Московской больнице для бедных. Мать, Мария Федоровна, отличалась глубоким христианским благочестием.

«Без святого и драгоценного, унесенного в жизнь из воспоминаний детства, не может и жить человек», — говорил Достоевский. Одно из первых его воспоминаний — домашняя молитва перед образами. По воскресеньям и праздникам вся семья, в которой было семеро детей, ходила в больничную церковь.

Летом мать с детьми ездила в Троице-Сергиеву лавру, где они «проводили два дня, посещали все службы». Спустя много лет, в 1859 году, возвращаясь из сибирской ссылки, Федор Михайлович вновь приехал сюда и остался под большим впечатлением от места, которое знал с детства. «Что за архитектура, какие памятники, — писал он. — Ризница привела нас в изумление... Одежды нескольких веков — работы собственноручные русских цариц и царевен, домашние одежды Ивана Грозного, монеты, старые книги, всевозможные редкости — не вышел бы оттуда».

В воспитании мальчика участвовала няня, Алена Фроловна, научившая его молитве «Все упование мое на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани мя под кровом Твоим». Эту молитву Достоевский будет повторять всю последующую жизнь, ею будет напутствован ко сну своих детей.

Образ матери был особенно дорог Достоевскому. В романе «Подросток» Аркадий Долгорукий говорит матери: «Помню еще около дома огромные деревья, липы кажется, потом иногда сильный свет солнца в отворенных окнах, палисадник с цветами, дорожку, а вас, мама, помню ясно только в одном мгновении, когда меня в тамошней церкви раз причащали и вы приподняли меня принять Дары и поцеловать Чашу; это летом было, и голубь пролетел насквозь через купол, из окна в окно...» Эти слова отражают детские воспоминания Достоевского.

Книга, по которой Достоевский учился читать под руководством матери, называлась «Сто четыре священные истории Ветхого и Нового Завета, выбранные из Священного Писания», своего рода пересказ Библии для семейного чтения. Впечатления от этой книги и от чтения Священного Писания в храме глубоко врезались в память писателя: «Была у меня тогда книга, священная история, с прекрасными картинками, под названием “Сто четыре священные истории Ветхого и Нового Завета”, и по ней я и читать учился. И теперь она у меня здесь на полке лежит, как драгоценную память сохраняю. Но и до того еще как читать научился, помню, как в первый раз посетило меня некоторое проникновение духовное, еще восьми лет от роду. Повела матушка меня одного (не помню, где был тогда брат) во храм Господень, в Страстную неделю в понедельник к обедне. День был ясный, и я, вспоминая теперь, точно вижу вновь, как возносился из кадила фимиам и тихо восходил вверх, а сверху в куполе, в узенькое окошечко, так и льются на нас в церковь Божьи лучи, и, восходя к ним волнами, как бы таял в них фимиам. Смотрел я умиленно и в первый раз от роду принял я тогда в душу первое семя слова Божия осмысленно. Вышел на середину храма отрок с большою книгой, такою большою, что, показалось мне тогда, с трудом даже и нес ее, и возложил на налой, отверз и начал читать, и вдруг я тогда в первый раз нечто понял, в первый раз в жизни понял, что во храме Божиим читают». Эти слова старца Зосимы из «Братьев Карамазовых» отражают собственный духовный опыт Достоевского в ранние годы его жизни. А книга, которую читал отрок в храме, — не что иное как Книга Иова, одна из любимых книг Достоевского.

Из слов старца Зосимы мы узнаем также о других библейских историях, поразивших воображение Достоевского еще в детстве. Особенно трогала его история Иосифа и его братьев:

«Прочти им, — советует старец Зосима, — об Аврааме и Сарре, об Исааке и Ревекке, о том, как Иаков вошел к Лавану и боролся во сне с Господом... Прочти им, а деткам особенно, о том, как братья продали в рабство родного брата своего, отрока милого, Иосифа. Прочти, как потом братья приезжали за хлебом в Египет и Иосиф, уже царедворец великий, ими не узанный, мучил их, обвинил, задержал брата Вениамина, и все любя. Уходит наконец от них, не выдержав сам муки сердца своего, бросается на одр свой и плачет; утирает потом лицо свое и выходит сияющ и светел и возвещает им: “Братья, я Иосиф, брат ваш!” Пусть прочтет он далее о том, как обрадовался старец Иаков, узнав, что жив еще его милый мальчик, и потянулся в Египет, бросив даже отчизну, и умер в чужой земле, изрекши на веки веков в завещании своем величайшее слово, вмещавшееся таинственно в кротком и боязливом сердце его во всю его жизнь, о том, что от рода его, от Иуды, выйдет великое чаяние мира, Примиритель и Спаситель его!»

Приходил в семью Достоевских и законоучитель, дьякон Илья Хинковский, который рассказывал детям «из Писания». О нем сохранил воспоминания Андрей Достоевский, младший брат Федора: «Многих впоследствии имел я законоучителей, но такого, как отец дьякон, не припомню. Он имел отличный дар слова, и весь урок, продолжавшийся по-старинному часа полтора-два, проводил в рассказах, или, как у нас говорилось, в толковании Священного Писания. Бывало придет, употребит несколько минут на спрос уроков и сей час же приступит к рассказам. О потопах, о приключениях Иосифа, о Рождестве Христове он говорил особенно хорошо, так, что бывало и маменька, оставив свою работу, начинает не только слушать, но и глядеть на воодушевляющегося преподавателя. Положительно могу сказать, что он своими уроками и своими рассказами умилял наши детские сердца».

Вероятно, именно от дьякона-законоучителя Достоевский услышал те «рассказы про “Божественное”», которые навсегда врезались в его память. Об этих рассказах, представляющих собой не что иное, как различные эпизоды из житийной литературы, Достоевский говорит в «Дневнике писателя» за 1877 год, вспоминая свое детство: «Да и вообще рассказы про “Божественное” очень любит русский народ. Мужики, дети их, в городах мешане, купцы даже этих рассказов заслушивают, с умилением и воздыханием... И вот, верите ли вы тому, что по всей земле русской чрезвычайно распространено знание Четьи Минеи. Почему же так? А потому, что есть чрезвычайно много рассказчиков и рассказчиц о житиях святых. Рассказывают они из Четьи Минеи прекрасно, точно, не вставляя ни единого лишнего слова от себя, и их заслушивают. Я сам в детстве слышал такие рассказы прежде еще, чем научился читать. Слышал я потом эти рассказы даже в острогах у разбойников, и разбойники слушали и воздыхали. Эти рассказы передаются не по книгам, а заучились изустно. В этих рассказах, и в рассказах про святые места, заключается для русского народа, так сказать, нечто покаянное и очистительное».

Эпизоды из житийной литературы встречаются во многих романах Достоевского. В частности, старец Зосима упоминает о том, как «приходил раз медведь к великому святому, спасавшемуся в лесу, в малой келейке, и умилился над ним великий святой, бесстрашно вышел к нему и подал ему хлеба кусок: “Ступай, дескать, Христос с тобой”, и отошел свирепый зверь послушно и кротко, вреда не сделав». Это рассказ из жития Сергия Радонежского.

## Юность

Мать Достоевского умерла, когда ему было 15 лет. Ее смерти предшествовала долгая болезнь. Вспоминает Андрей Достоевский: «С осени 36-го года в семействе нашем было очень печально. Маменька с начала осени начала сильно хворать. Отец, как доктор, конечно, признавал ее болезнь, но видимо утешал себя надеждою на поддержание сил больной. Силы ее падали очень быстро. С начала нового 1837 года состояние маменьки очень ухудшилось, она почти не вставала с постели, а с февраль месяца и совершенно слегла в постель. Это было самое горькое время в детский период нашей жизни.

И немудрено. Мы готовились ежеминутно потерять мать. Помню ночь, предшествовавшую кончине мамочки, то есть с 26-го на 27 февраля. Мамочка перед смертной агонией пришла в совершенную память, потребовала икону Спасителя и сперва благословила всех нас, давая еле слышные благословения и наставления, а затем захотела благословить и отца. Картина была умилительная, и все мы рыдали. Вскоре после этого началась агония и мамочка впала в беспамятство, а в 7-м часу утра 27 февраля она скончалась на 37-м году своей жизни».

По свидетельствам близких, о своей матери Достоевский впоследствии говорил «с горячим чувством» и память ее хранил «с сердечной нежностью» (А. Г. Достоевская). Об отце, напротив, «он решительно не любил говорить и просил о нем не спрашивать» (С. Д. Яновский). И тому были свои причины.

О характере Михаила Андреевича сохранились противоречивые сведения. По некоторым данным, он отличался нетерпеливым и вспыльчивым характером. Вот лишь одно свидетельство: «Отец, при всей своей доброте, был чрезвычайно взыскателен и нетерпелив, а главное, очень вспыльчив... При малейшем промахе со стороны братьев отец всегда рассердится, вспылит, обзовет их лентяями, тупицами; в крайних же, более редких случаях даже бросит занятия, не докончив урока, что считалось уже хуже всякого наказания» (А. М. Достоевский). В то же время воспитание детей в семье Михаила Андреевича было, по тогдашним меркам, гуманным: детей не секли розгами, не подвергали иным телесным наказаниям, даже в угол не ставили.

После смерти жены Михаил Андреевич вышел в отставку и поселился в фамильном имении Даровое. А сына Федора отправил в Петербург, в Военно-инженерное училище.

Инженерное дело Федору неинтересно, и все свое свободное время он посвящает чтению. Гомер, Шекспир, Бальзак, Гюго, Гофман, Шатобриан, Шиллер, Байрон, Расин, Корнель, Пушкин, Лермонтов, Гоголь — вот далеко не полный список того, что он читает, проглатывая книги одну за другой. Постепенно в нем крепнет идея, возникшая еще в Москве: стать профессиональным романистом, изучать и описывать человеческие характеры.

В 18-летнем возрасте Достоевский теряет отца, который умирает, по одной версии, от апоплексического удара; по другой — его убивают крепостные, с которыми он обращался высокомерно и жестоко. Два дня тело его лежит в чистом поле. «Боже мой! Боже мой, какую ужасную смертью умер папенька! два дня на поле... может быть, дождь, пыль ругались над бранными останками его; может быть, он звал нас в последние минуты, и мы не подошли к нему, чтобы смежить его очи», — пишет Михаил Достоевский, старший брат Федора.

Смерть отца стала переломным моментом в судьбе Федора. Он тяжело переживает ее. По свидетельству одного из друзей, из веселого и шаловливого мальчика он едва ли не в одночасье превращается в нелюдимого и задумчивого юношу.

«Я пролил много слез о кончине отца», — пишет Федор брату Михаилу. Но в том же письме выражает уверенность в своем особом призвании: «Душа моя недоступна прежним бурным порывам. Все в ней тихо, как в сердце человека, затаившего глубокую тайну; учиться, “что значит человек и жизнь”, — в этом довольно успеваю я; учить характеры могу из писателей, с которыми лучшая часть жизни моей протекает свободно и радостно; более ничего не скажу о себе. Я в себе уверен. Человек есть тайна. Ее надо разгадать, и ежели будешь ее разгадывать всю жизнь, то не говори, что потерял время; я занимаюсь этой тайной, ибо хочу быть человеком».

В общей сложности Достоевский провел в Военно-инженерном училище 6 лет. Этот период жизни писателя отражен в рассказе старца Зосимы: «В Петербурге, в кадетском корпусе, пробыл я долго... и с новым воспитанием многое заглушил из впечатлений детских, хотя и не забыл ничего. Взамен того принял столько новых привычек и даже мнений, что преобразился в существо почти дикое, жестокое и нелепое. Лоск учтивости и светского обращения вместе с французским языком

приобрел. Но вот что дивно: читал я тогда и книги, и даже с большим удовольствием: Библию же одну никогда почти в то время не развертывал, но никогда и не расставался с нею, а возил ее повсюду с собой: воистину берег эту книгу, сам того не ведая, “на день и час, на месяц и год”».

### **«Бедные люди»**

В 1844 году Достоевский уходит в отставку с военно-инженерной службы. Это дает ему возможность с головой погрузиться в культурную жизнь Петербурга. Он посещает светские салоны, ходит на концерты известных музыкантов — как отечественных, так и приезжих; посещает представления в оперных театрах и спектакли в театрах драматических.

Но главное, что дает ему отставка, это возможность беспрепятственно заниматься литературным трудом. Он рад возможности писать. В то же время необходимость писать за деньги приводит его в отчаяние: «Беда работать поденщиком. Погубишь все, и талант, и юность, и надежду, омерзает работа, и сделаешься наконец пачкуном, а не писателем». Материальная нужда будет до конца дней преследовать Достоевского, наложит отпечаток на все его творчество.

В 1845-м он заканчивает свой первый роман — «Бедные люди». Работа над романом шла с трудом, и Достоевский сомневался в его успехе. Его даже посещали мысли о самоубийстве в случае неудачи. Он писал брату: «Если мое дело не удастся, я, может быть, повешусь»; «А не пристрою романа, так, может быть, и в Неву».

Форму романа в письмах Достоевский мог заимствовать у Гете, некоторые идеи у Белинского, а общую художественную направленность у Гоголя. Однако роман получился глубоко оригинальным. Достоевский сумел проникнуть в мир «маленьких людей», но его взгляд на них лишен гоголевской сатиры и насмешки. Это взгляд внимательного и сочувствующего наблюдателя, старающегося выявить глубинные пласты характера своих персонажей.

Герой гоголевской «Шинели» — заурядный чиновник Акакий Акакиевич Башмачкин, который собрал деньги на покупку новой шинели; когда ее у него крадут, он умирает. Герой Достоевского — Макар Девушкин, тоже мелкий чиновник, но только облагороженный: он любит не вещь, а живое человеческое существо, девушку- сироту Вареньку. Достоевский, «усвоив технику гоголевской школы, взрывает ее изнутри. Он очеловечивает смешного героя» (К. Мочульский).

Роман, вопреки опасениям автора, имел шумный успех. О Достоевском заговорили как о новом гении русской литературы. Некрасов, прочитав рукопись за одну ночь, прибежал к Достоевскому в четыре часа утра, чтобы выразить свой восторг. Затем со словами «Новый Гоголь явился!» передал рукопись Белинскому. Тот тоже прочел роман не отрываясь и пожелал познакомиться с автором. «Приведите, приведите его скорее!» — сказал он Некрасову.

### **Встреча с Белинским**

Встреча с Белинским стала для Достоевского большим, но и роковым событием. В значительной степени именно она предопределила его будущую драматичную судьбу.

Когда мы обращаемся к литературной истории XIX века, мы спрашиваем себя: в чем феномен Белинского? Кто такой этот чело век, что его статьями упивались выдающиеся писатели и поэты, безмерно превосходившие его по масштабу литературного дарования?

Обладая незаурядным умом, искренностью и страстной верой в возможности реалистического метода изображения действительности, Белинский был свято предан литературе, и это привлекало в нем современников. Он был остер на язык, его меткие суждения широко расходились, каждое новое произведение он оценивал быстро и беспощадно. Отрицательная оценка Белинского воспринималась молодыми писателями как смертный приговор, а его похвала открывала им дорогу в большую литературу.

При первой встрече Белинскому удалось произвести сильное впечатление на Достоевского. Немало способствовала этому восторженная оценка Белинским «Бедных людей». «Я вышел от него в упоении... Это была самая восхитительная минута во всей моей жизни», — вспоминал впоследствии Достоевский.

Однако упоение скоро начало сменяться разочарованием. Одной из причин этого была ярко выраженная антирелигиозность Белинского. В 1845 году он писал Герцену: «В словах Бог и религия вижу тьму, мрак, цепи и кнут». В том же году состоялся разговор Белинского с Достоевским, который последний воспроизведет много лет спустя в «Дневнике писателя»:

— Да знаете ли вы, — взвизгивал он раз вечером (он иногда как-то взвизгивал, если очень горячился), обращаясь ко мне, — знаете ли вы, что нельзя насчитывать грехи человеку и обременять его долгами и подставными ланитами, когда общество так подло устроено, что человеку невозможно не делать злодейств, когда он экономически приведен к злодейству, и что нелепо и жестоко требовать с человека того, чего уже по законам природы не может он выполнить, если б даже хотел.

В этот вечер мы были не одни, присутствовал один из друзей Белинского, которого он весьма уважал и во многом слушался; был тоже один молоденький, начинающий литератор, заслуживший потом известность в литературе.

— Мне даже умилительно смотреть на него, — прервал вдруг свои яростные восклицания Белинский, обращаясь к своему другу и указывая на меня, — каждый-то раз, когда я вот так помяну Христа, у него все лицо изменяется, точно заплакать хочет... Да поверьте же, наивный вы человек, — набросился он опять на меня, — поверьте же, что ваш Христос, если бы родился в наше время, был бы самым незаметным и обыкновенным человеком; так и ступивался бы при нынешней науке и при нынешних двигателях человечества.

— Ну не-е-т! — подхватил друг Белинского. (Я помню, мы сидели, а он расхаживал взад и вперед по комнате.) — Ну нет; если бы теперь появился Христос, Он бы примкнул к движению и стал во главе его...

— Ну да, ну да, — вдруг и с удивительною поспешностью согласился Белинский. — Он бы именно примкнул к социалистам и пошел за ними.

Суждения Белинского о Христе шокировали Достоевского: «Я застал его страстным социалистом, и он прямо начал со мной с атеизма. Как социалисту, ему прежде всего следовало низложить христианство; он знал, что революция непременно должна начинать с атеизма. Тут оставалась, однако, сияющая личность Самого Христа, с которою всего труднее было бороться. Учение Христово он, как социалист, необходимо должен был разрушать, но все-таки оставался пресветлый лик Богочеловека, Его нравственная недостижимость, Его чудесная и чудотворная красота. Но в непрерывном, неугасимом восторге своем Белинский не остановился даже и перед этим неодолимым препятствием, как остановился Ренан, провозгласивший в своей полной безверия книге “Vie de Jesus”<sup>1</sup>, что Христос все-таки есть идеал красоты человеческой, тип недостижимый, которому нельзя уже более повториться даже и в будущем».

Завершая свой рассказ, Достоевский говорит: «В последний год его жизни я уже не ходил к нему. Он меня невзлюбил; но я страстно принял все учение его». Означают ли эти слова, что Достоевский вслед за Белинским отрекся от сияющей личности Христа? Нет. Возможно, он лишь на какое-то время, увлекшись Ренаном, утратил веру в богочеловечество Христа, но и об этом нет ясных свидетельств.

В 1846 году Достоевский не говел и не причащался. Но уже в начале 1847 года вернулся к

---

<sup>1</sup> «Жизнь Иисуса» (фр.).

церковной жизни. По свидетельству доктора С. Д. Яновского, и в 1847, и в 1849 годах Достоевский вместе с ним говел в Вознесенском храме и «делал это не для формы».

Обнаружившиеся идейные расхождения между Достоевским и Белинским заставляли последнего снижать градус похвал в адрес первого по мере выхода его новых сочинений, а затем и вовсе пересмотреть свое к нему отношение. Спустя два года после восторженного отклика на «Бедных людей» Белинский пишет одному из членов своего кружка, критику П. В. Анненкову: «Каждое его новое произведение — новое падение. В провинции его терпеть не могут, в столице отзываются враждебно даже о “Бедных людях”; я трепещу при мысли перечитывать их. Надулись же мы, друг мой, с Достоевским- гением».

Достоевский не оправдал надежд Белинского, поскольку не пошел по тому пути, на который Белинский хотел его поставить, пустился в исследования человеческих характеров вместо того, чтобы заниматься социальной проблематикой. И тем не менее даже после фактического разрыва с Белинским Достоевский не сразу освободился от его влияния.

В 1847 году Белинский написал открытое письмо Гоголю, обрушившись на него с нападками за книгу «Выбранные места из переписки с друзьями». В этой книге Гоголь, известный всей России своей сатирической прозой, решился изложить свои взгляды на христианство, Православие, судьбу России. Книга подверглась критике с разных сторон. Еще на этапе подготовки к изданию на нее пыталась наложить вето духовная цензура на том основании, что понятия о Церкви Русской и духовенстве в книге показались цензору «конфузными». Сам факт обращения светского писателя к духовным вопросам смутил цензора. Это препятствие, однако, удалось преодолеть, книгу напечатали с разрешения Святейшего Синода. Тогда уже за нее взялась либеральная критика, с точки зрения которой оценки, сделанные Гоголем, были тенденциозными и реакционными.

В своей книге Гоголь с большим вдохновением говорит о Церкви: «Духовенство наше не бездействует. Я очень знаю, что в глубине монастырей и в тишине келий готовятся неопровержимые сочинения в защиту Церкви нашей. Но дела свои они делают лучше, нежели мы: они не торопятся и, зная, чего требует такой предмет, совершают свой труд в глубоком спокойствии, молясь, воспитывая самих себя, изгоняя из души своей все страстное, похожее на неуместную, безумную горячку, возвышая свою душу на ту высоту бесстрастия небесного, на которой ей следует пребывать... Эта Церковь, которая, как целомудренная дева, сохранилась одна только от времен апостольских в непорочной первоначальной чистоте своей, эта Церковь, которая вся с своими глубокими догматами и малейшими обрядами наружными как бы снесена прямо с Неба для русского народа, которая одна в силах разрешить все узлы недоумения и вопросы наши, которая может произвести неслыханное чудо в виду всей Европы, заставив у нас всякое сословье, званье и должность войти в их законные границы и пределы и, не изменив ничего в государстве, дать силу России изумить весь мир согласной стройностью того же самого организма, которым она доселе пугала, — и эта Церковь нами незнаема!»

Именно эти слова более всего возмутили Белинского, разразившегося гневными инвективами в адрес Гоголя: «Проповедник кнута, апостол невежества, поборник обскурантизма и мракобесия, что Вы делаете?.. Что Вы подобное учение опираете на православную церковь — это я еще понимаю: она всегда была опорой кнута и угодницей деспотизма; но Христа-то зачем Вы примешали тут? Что Вы нашли общего между Ним и какою-нибудь, а тем более православною, церковью? Он первый возвестил людям учение свободы, равенства и братства и мученичеством запечатлел, утвердил истину Своего учения. И оно только до тех пор и было спасением людей, пока не организовалось в церковь и не приняло за основание принципа ортодоксии... По-Вашему, русский народ — самый религиозный в мире: ложь!.. Приглядитесь пристальнее, и Вы увидите, что это по натуре своей глубоко атеистический народ. В нем еще много суеверия, но нет и следа религиозности».

Письмо Белинского Гоголю не было опубликовано, но расходилось в многочисленных рукописных копиях. Одна из них попала в руки Достоевского и едва не стоила ему жизни.

## Петрашевцы

Весной 1847 года Достоевский начинает посещать кружок молодых вольнодумцев, собиравшийся по пятницам в доме сотрудника внешнеполитического ведомства М. В. Петрашевского. Внешне этот кружок представлял собой светский салон, посетитель которого мог ближе сойтись с представителями творческой интеллигенции, расширить свой кругозор и круг знакомств. Среди гостей бывали писатель М. Е. Салтыков-Щедрин, поэт А. Н. Плещеев, композитор и пианист А. Г. Рубинштейн. Одно из собраний кружка в 1849 году посетил М. И. Глинка, и Достоевский был счастлив лично познакомиться с автором оперы «Руслан и Людмила», которой искренне восхищался.

Привлекала посетителей салона и возможность поужинать у Петрашевского. По воспоминаниям одного из участников кружка, «чаю и что следует к чаю было всегда довольно; в особенности насчет ужина он был распорядителен: телячьи котлеты с зеленым горошком, поросенок под сметаной, а иногда блюдо дичи, в заключение пирожное и что следует к ужину в приличном количестве. Лакеев и официантов за ужином не полагалось, еда и питье выставлялись на стол (в центре кипящий самовар), и гости сами себя обслуживали». Отметим, что это описание пятничного ужина. Разумеется, никакие постные дни петрашевцами не соблюдались, а в Страстную Пятницу демонстративно устраивали «разговенья», ставя на стол разнообразные скоромные блюда.

За respectable внешностью светского салона скрывался интерес многих членов кружка Петрашевского к либеральным и революционным идеям. Конкретной политической программы у идеологов кружка не было, так как его составляла разношерстная публика: от утопистов-мечтателей до революционеров, грезивших государственным переворотом и свержением монархии. Но разговоры велись иногда достаточно радикальные, и тема «переворота» или «восстания» то и дело возникала в выступлениях участников собраний.

Не стеснялись петрашевцы выступать против религии и Церкви: «За время общения с петрашевцами, — пишет Л. Сараскина, — Федор Михайлович не раз бывал свидетелем лихого богохульства... Религия вредна, говорили здесь: она подавляет разум и заставляет человека быть добрым из страха наказания. Подвергали сомнению достоверность книг Священного Писания, называли их апокрифическими, написанными не апостолами, слушавшими учение Христа, а позднейшими лидерами касты духовенства, “жаждавшего забрать в свои руки власть”. На пятничных собраниях толковали, что с помощью науки нельзя положительно доказать ни бытия Божия, ни Его небытия — и то, и другое только гипотеза. Богословие называлось бреднями, вышедшими из монашеских клобуков. Утверждалось, что Сам Иисус Христос — не Бог, а простой человек, “такой же, как и мы, но гениальный и посвященный в тайнства наук, нововводитель, умевший воспользоваться своим положением”. В одной из найденных у Петрашевского речей Иисус Христос был назван демагогом, неудачно кончившим свою карьеру; ему, впрочем, возражали: почему же неудачно, если учение завоевало весь мир?»

С целью сбора сведений о реальных целях членов кружка в их среду был внедрен агент, который регулярно доносил в III Отделение, чем они живут и дышат. Понадобилось чуть больше месяца, чтобы собрать достаточно улики. 23 апреля 1849 года большинство петрашевцев, включая Ф. М. Достоевского, были арестованы и помещены в Петропавловскую крепость. Достоевский в одночасье оказался в тюремном каземате, отрезанный от привычного круга чтения и общения.

В августе он пишет брату Михаилу: «Хочешь мне прислать исторических сочинений. Это будет превосходно. Но всего лучше, если б ты мне прислал Библию (оба Завета). Мне нужно. Но если возможно будет прислать, то пришли во французском переводе. А если к тому прибавишь и славянский, то все это будет верхом совершенства».

Почему во французском переводе? Потому что полного русского перевода Библии на тот

момент вообще не существовало, а те части Библии, которые в эпоху Александра I были переведены на русский, в том числе Новый Завет издания 1823 года, при Николае I оказались под запретом: восторжествовало мнение, что Библию можно читать только по-славянски. «В переводе не было ничего такого, что заслужило бы такую строгую меру. Он пострадал мученически», — писал впоследствии митрополит Московский и Коломенский Филарет. Изъятый из общественного употребления, перевод этот на несколько десятилетий оказался недоступен для широкой публики. Парадоксальным образом, однако, им могли пользоваться каторжники: у них это издание не изымалось.

Следствие по делу петрашевцев велось восемь месяцев. Достоевскому инкриминировали, в частности, то, что на одном из собраний он читал вслух письмо Белинского Гоголю. Сочувствовал ли он на тот момент автору письма? Отвечая на вопросы следователей, он всеми силами старался доказать, что занимал нейтральную позицию в споре Белинского с Гоголем: «Я прочел письмо Белинского Гоголю... Я его прочел, стараясь не выказывать пристрастия ни к тому, ни к другому из переписывавшихся. По прочтении письма я не говорил об нем ни с кем из бывших у Петрашевского. Мнений об этой переписке тоже не слыхал. Сознаюсь, что я поступил неосторожно.

В формальном объяснении, поданном следователям, Достоевский еще более критичен по отношению к Белинскому: «Меня обвиняют в том, что я прочел статью “Переписка Белинского с Гоголем” на одном из вечеров у Петрашевского. Да, я прочел эту статью, но тот, кто донес на меня, может ли сказать, к которому из переписывавшихся лиц я был пристрастнее? Пусть он припомнит, было ли не только в суждениях моих (от которых я воздержался), — но хоть бы в интонации голоса, в жесте моем во время чтения, что-нибудь способное выказать мое пристрастие к одному лицу преимущественно, чем к другому из переписывавшихся? Конечно, он не скажет того. Письмо Белинского написано слишком странно, чтоб возбудить к себе сочувствие. Ругательства отвращают сердце, а не привлекают его; а все письмо начинено ими и желчью написано. Наконец, вся статья образец бездоказательности — недостаток, от которого Белинский никогда не мог избавиться в своих критических статьях и который усиливался по мере истощения нравственных и физических сил его в болезни. И далее рассказывает о своем кратком знакомстве с Белинским, ссоре с ним и разрыве.

Следователи, судя по всему, не поверили в искренность показаний подсудимого. Наряду с другими петрашевцами, он был приговорен к смертной казни через расстрел. Затем отдельным решением смертная казнь всем участникам кружка была заменена различными сроками каторжных работ. Новый приговор Достоевскому гласил: «Отставного поручика Достоевского за участие в преступных замыслах, распространение письма литератора Белинского, наполненного дерзкими выражениями против Православной Церкви и верховной власти... лишить всех прав состояния и сослать в каторжную работу в крепость на восемь лет». Когда этот приговор был представлен Николаю I, он наложил резолюцию: «На четыре года, а потом рядовым».

Однако Достоевский не знал ни о первом, ни о втором приговоре, ни о резолюции государя. Самодержец пожелал, чтобы для всех участников кружка был устроен «обряд» показательной казни через расстрел. Идея, очевидно, заключалась в том, чтобы проучить заговорщиков и послать сигнал либеральной общественности: вот что с вами будет, если не прекратите вынашивать революционные замыслы.

Все детали церемонии были тщательно продуманы лично государем. Морозным утром 22 декабря 1849 года осужденных вывели на Семеновский плац, где им был объявлен смертный приговор. Трех облачили в белые рубахи и привязали к столбу. Достоевский был во второй тройке, жить ему оставалось, как он думал, не более десяти минут. Подошел священник, все петрашевцы приложились к кресту, один коротко исповедовался (это был не Достоевский). И вот, когда каждый из осужденных мысленно простился с жизнью, неожиданно последовало объявление о высочайшей милости: о замене смертного приговора каторжными работами.

Много лет спустя Достоевский опишет пережитый опыт в романе «Идиот», вложив рассказ о нем в уста князя Мышкина.

Воспоминаниями о несостоявшейся казни Достоевский будет делиться с друзьями. Выдающийся математик Софья Ковалевская, в юности знавшая Достоевского, записала его рассказ: «После казавшейся нам бесконечной дороги привезли нас, наконец, на Семеновский плац, посреди которого возвышался эшафот. Нас, всего 20 человек, взвели на него и расставили в два ряда... На середину эшафота вышел аудитор и прочел нам всем смертный приговор. Казнь должна была совершиться немедленно. 20 раз повторенные аудитором роковые слова: “Приговорен к смертной казни расстрелянием”, — так глубоко врезались в моей памяти, что многие годы спустя случилось мне вдруг проснуться среди ночи от того, что казалось, кто-то прокричал мне их в ухо. В эту самую минуту, — рассказывал Достоевский, — проглянуло из-за туч солнце, и мне вдруг так ясно стало: “Не может быть, чтобы нас казнили”. Я сказал это стоявшему рядом со мной товарищу. Вместо ответа он только молча указал мне на стоящую тут же возле эшафота телегу, на которой были положены гробы, прикрытые рогожей. Увидя их, у меня мигом пропала всякая надежда и, напротив того, явилась уверенность, что нас непременно казнят. На эшафот вошел священник и предложил тем, кто хочет, исповедоваться. Никто не захотел, исключая одного, но, когда священник поднес к нам крест, все к нему приложились. Трех из моих товарищей, наиболее виновных, уже привязали к столбам и надели им на голову какие-то мешки. Против них расставили взвод солдат, ожидавших только роковой команды “пли”. С того места, где я стоял, виднелась церковь с золоченым куполом, который так и сиял на солнце. Я помню — я упорно глядел на этот купол и на лучи, от него сверкавшие, и странное вдруг на меня нашло ощущение: точно лучи эти — моя новая природа, точно через пять минут я сольюсь с ними. Но вдруг произошло что-то необычайное. По близорукости я еще ничего разглядеть не мог, а только почувствовал, что что-то совершилось. Наконец, я увидел, что по площади скакал во весь дух по направлению к нам офицер, махавший белым платком. Это государь прислал нам всем помилование».

Достоевский потрясен пережитым, но в то же время безмерно счастлив. Только что он простился с жизнью, и вдруг она ему вновь дарована. По возвращении в крепость он пишет брату: «Я не уныл и не упал духом. Жизнь везде жизнь, жизнь в нас самих, а не во внешнем. Подле меня будут люди, и быть человеком между людьми и остаться им навсегда, в каких бы то ни было несчастьях, не уныть и не пасть, — вот в чем жизнь, в чем задача ее. Никогда еще таких обильных и здоровых запасов духовной жизни не кипело во мне, как теперь».

Здесь же Достоевский пишет о жизни как даре, которым надо дорожить: «Как оглянусь на прошлое, да подумаю, сколько даром потрачено времени, сколько его пропало в заблуждениях, в ошибках, в праздности, в неумении жить; как не дорожил я им, сколько раз я грешил против сердца моего и духа, так кровью обливается сердце мое. Жизнь — дар, жизнь — счастье, каждая минута могла быть веком счастья. Теперь, переменяя жизнь, перерождаюсь в новую форму. Брат! Клянусь тебе, что я не потеряю надежду и сохраню дух мой и сердце мое в чистоте. Я перерожусь к лучшему».

Достоевский ощущает себя воскресшим из мертвых, заново родившимся. Да, ему предстоят долгие годы каторги и ссылки. Он страшится их, но не унывает. «Жизнь везде жизнь», — говорит он, готовя себя к предстоящим испытаниям.

## **В Мертвом Доме**

Четыре года пребывания на каторге нашли отражение в «Записках из Мертвого Дома». Здесь Достоевский описывает свою тюремную казарму: «Это была длинная, низкая и душная комната, тускло освещенная сальными свечами, с тяжелым, удушающим запахом. Не понимаю теперь, как я выжил в ней. На нарах у меня было три доски: это было все мое место. На этих же нарах размещалось

в одной нашей комнате человек тридцать народу. Зимой запирали рано: часа четыре надо было ждть, пока все засыпали. А до того — шум, гам, хохот, ругательства, звук цепей, чад и копоть, бритые головы, клейменные лица, лоскутные платья, все — обруганное, ошельмованное... да, живуч человек! Человек есть существо ко всему привыкающее, и, я думаю, это самое лучшее его определение».

В 18 лет Достоевский мечтал заняться изучением человеческих характеров. Судьба предоставила ему возможность, которой не имел ни один из русских писателей XIX века. Все они, за немногими исключениями, были дворянами и в своих произведениях изображали разного рода «дворянские гнезда», где бушевали дворянские страсти. Если же они бросали взгляд в сторону простонародья, то смотрели на него свысока или со стороны. И чтобы приблизиться к пониманию народа, им требовались особые усилия. Типичные примеры — Тургенев и Толстой.

Оба стремились понять народ, вывели в своих произведениях немало ярких народных характеров, но ни один из них не жил в народе и среди народа. До конца дней они оставались пленниками дворянского быта и дворянского мировосприятия.

Достоевскому было суждено «войти в народ», но не так, как это делали другие писатели, и не так, как это делали революционеры, ходившие в народ, чтобы заразить его своими идеями. Достоевский оказался на самом дне социальной пирамиды, став одним из тех униженных и оскорбленных, обруганных и ошельмованных, коими были наполнены тюремные камеры: «Я думаю, каждая губерния, каждая полоса России имела тут своих представителей... Надо полагать, что не было такого преступления, которое бы не имело здесь своего представителя. Были здесь убийцы невзначай и убийцы по ремеслу, разбойники и атаманы разбойников. Были просто мазурики и бродяги. Были и такие, про которых трудно было решить: за что бы, кажется, они могли прийти сюда? А между тем у всякого была своя повесть, смутная и тяжелая, как угар от вчерашнего хмеля».

Именно на каторге Достоевский узнал о той бездне, которая может разверзнуться в душе человека и довести его до страшных, чудовищных преступлений. Многие герои его романов либо совершают преступления, либо вынашивают преступные замыслы. При этом добро и зло коренятся в душе человека, в его сердце. Иисус Христос говорил: «Ибо из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуления» (Мф. 15:19). Достоевский знает эту бездну человеческого сердца. «Здесь Бог с дьяволом борются, а поле битвы — сердца людей», — говорит герой «Братьев Карамазовых» Дмитрий.

Страдания Достоевского на каторге были невыносимыми. Впоследствии он писал своему брату Андрею: «А эти четыре года считаю я за время, в которое я был похоронен живой и закрыт в гробу. Это было страдание невыразимое, бесконечное, потому что всякий час, всякая минута тяготела, как камень, у меня на душе». В то же время это был период духовного перерождения писателя: «Я был осужден законно и справедливо; долгий опыт, тяжелый и мучительный, протрезвил меня и во многом переменил мои мысли. Мысли и даже убеждения меняются, меняется и весь человек, и каково же теперь страдать за то, чего уже нет, что изменилось во мне в противоположное, страдать за прежние заблуждения, которых неосновательность я уже сам вижу, чувствовать силы и способности, чтоб сделать хоть что-нибудь для искупления бесполезности прежнего и — томиться в бездействии!»

Проникновение в глубины народного характера и в темные глубины человеческой души — вот что стало главным итогом тех страшных лет, когда Достоевский был погребен заживо. В письме брату Михаилу он пишет: «И в каторге между разбойниками я в четыре года отличил, наконец, людей. Поверишь ли: есть характеры глубокие, сильные, прекрасные, и как весело было под грубой корой отыскать золото... Сколько я вынес из каторги народных типов, характеров! Я сжился с ними и потому, кажется, знаю их порядочно. Сколько историй бродяг и разбойников и вообще всякого черного, горемычного люда. На целые томы достанет. Что за чудный народ. Вообще время для меня не потеряно, если я узнал не Россию, так народ русский хорошо, и так хорошо, как, может быть, не многие знают его».

Каторга не сломила писателя, не озлобила его. По возвращении из Сибири он говорил старому другу С. Д. Яновскому: «Да, батенька, все пережилось и все радостно окончилось, а отчего? Оттого, что вера была сильна, несокрушима; покаяние глубокое, искреннее, ну и надежда во все время меня не оставляла!»

Что помогло Достоевскому перенести страдания, боль, унижения? Что привело к вере и покаянию? Что стало источником надежды? Не в последнюю очередь, то самое Евангелие, которое он получил от Натальи Фонвизиной. Четыре года оно лежало у него под подушкой и было его единственным чтением. Вдоль и поперек изучил он эту книгу, сделал в ней около полутора тысяч помет, наизусть запомнил многие слова Христа. И тот Его сияющий образ, который померк было под влиянием Белинского, вновь засиял в душе писателя, чтобы уже никогда не угаснуть.

Именно об этом говорит Достоевский в письме Фонвизиной, написанном по окончании каторги. Об этом же он скажет впоследствии Владимиру Соловьеву: «Когда я очутился в крепости, я думал, что тут мне и конец, думал, что трех дней не выдержу, и — вдруг совсем успокоился... О! это большое для меня было счастье: Сибирь и каторга! Говорят: ужас, озлобление, о законности какого-то озлобления говорят! ужаснейший вздор! Я только там и жил здоровой, счастливой жизнью, я там себя понял, голубчик. Христа понял, русского человека понял...» И в «Дневнике писателя» Достоевский напишет: «Не говорите же мне, что я не знаю народа! Я его знаю: от него я принял вновь в мою душу Христа, Которого узнал в родительском доме еще ребенком и Которого утратил было, когда преобразился в свою очередь в “европейского либерала”».

Любовь Достоевского ко Христу поддерживалась той церковной жизнью, которая теплилась среди каторжников. В то время в России существовал обычай ежегодного причащения. Святитель Филарет Московский в своем Катехизисе писал: «Церковь стремящихся к благоговейной жизни материнским гласом увещевает исповедоваться перед духовным отцом и причащаться Тела И Крови Христовой четырежды в год или каждый месяц, а всем — обязательно раз в год». Это правило распространялось и на заключенных.

Перед причащением говели, то есть соблюдали строгий пост, целую неделю. В «Записках из Мертвого Дома» Достоевский вспоминает: «Неделя говенья мне очень понравилась. Говевшие освобождались от работ. Мы ходили в церковь, которая была неподалеку от острога, раза по два и по три в день. Я давно не был в церкви. Великопостная служба, так знакомая еще с далекого детства, в родительском доме, торжественные молитвы, земные поклоны — все это расшевеливало в душе моей далекое-далекое минувшее, напоминало впечатления еще детских лет. Причащались мы за ранней обедней. Когда священник с Чашей в руках читал слова: “но яко разбойника мя приими”, — почти все повалились в землю, звуча кандалами, кажется приняв эти слова буквально на свой счет».

Среди каторжников были не только православные, но и старообрядцы, иудеи, мусульмане. Одного молодого мусульманина-дагестанца Достоевский научил читать по-русски. В качестве учебного пособия использовался все тот же Новый Завет издания 1823 года.

Четыре года каторги стали для писателя временем глубокого внутреннего перерождения, переосмысления всей системы ценностей, на которой строилась его прежняя жизнь: «Помню, что все это время, несмотря на сотни товарищей, я был в страшном уединении, и я полюбил, наконец, это уединение. Одинокий душевно, я пересматривал всю прошлую жизнь, перебирал все до последних мелочей, вдумывался в мое прошлое, судил себя неумолимо и строго, и даже в иной час благословлял судьбу за то, что она послала мне это уединение, без которого не состоялись бы ни этот суд над собой, ни этот строгий пересмотр прежней жизни. И какими надеждами забилось тогда мое сердце! Я думал, я решил, я клялся себе, что уже не будет в моей будущей жизни ни тех ошибок, ни тех падений, которые были прежде».

За годы каторги с Достоевским произошло то, что он называл «перерождением убеждений»:

«Мы заражены были идеями тоглашнего теоретического социализма. Раз отвергнув Христа, ум человеческий может дойти до удивительных результатов. Мы, петрашевцы, стояли на эшафоте и выслушивали наш приговор без малейшего раскаяния. То дело, за которое нас осудили, те мысли, те понятия, которые владели нашим духом, представлялись нам не только не требующими раскаяния, но даже чем-то нас очищающим, мученичеством, за которое многое нам простится! И так продолжалось долго. Не годы ссылки, не страдания сломили нас. Нечто другое изменило взгляд наш, наши убеждения и сердца наши. Это нечто другое было непосредственное соприкосновение с народом, братское соединение с ним в общем несчастье. Это не так скоро произошло, а постепенно. Мне очень трудно было бы рассказать историю перерождения моих убеждений».

Пересмотр ценностных ориентиров коснулся, в частности, отношения Достоевского к верховной власти. Из человека, сочувствовавшего революционным идеям, он превратился в убежденного монархиста. «Во время общения с Белинским и потом с петрашевцами Достоевский был способен к борьбе за освобождение крестьян и против злоупотреблений власти принять участие в вооруженном восстании; мало того, в то время он мог бы, попав в руки лица, подобного Нечаеву, близко подойти к политическому убийству. Общение с народом на каторге открыло глаза Достоевскому на несомненную, по крайней мере для русской жизни XIX века, истину, что основной фактор русской государственности есть религиозное преклонение народа перед царем. С этих пор любовь к России, всегда воодушевлявшая Достоевского, тесно спаялась в его душе с любовью к царю как главной силе русской государственности» (Н. О. Лосский).

### Ссылка

В 1854 году Достоевский вышел с каторги и поселился в Семипалатинске. Первое, что он сделал, выйдя на свободу: набросился на книги. «Если можешь, пришли мне журналы на этот год. Но вот что необходимо: мне надо (крайне нужно) историков древних (во французском переводе) и новых экономистов и отцов Церкви», — пишет он брату Михаилу. Достоевскому хочется наверстать упущенное, начитать вдоволь за годы, проведенные с одной книгой в руках.

Но не случайна просьба прислать «отцов Церкви». Жажда богопознания его не оставляет. Узнав и полюбив Христа через Евангелие, он хочет глубже понять мир Церкви, прикоснуться к его сердцевине — святоотеческому богословию.

О пяти годах, проведенных Достоевским в ссылке в Семипалатинске, где он по приговору суда проходил военную службу, известно меньше, чем о последующем периоде жизни писателя. Начал он рядовым, год спустя был произведен в унтер-офицеры, еще через год — в офицеры.

Один из его семипалатинских друзей, А. П. Врангель, сохранил драгоценное свидетельство о религиозности Достоевского в то время: «Любимое времяпровождение было, когда мы в теплые вечера растягивались на траве и, лежа на спине, глядели на мириады звезд, мерцавших из синей глубины неба. Эти минуты успокаивали его. Созерцание величия Творца, всеведомой, всемогущей Божеской силы наводило на нас какое-то умиление, сознание нашего ничтожества, как-то смиряло наш дух. О религии с Достоевским мы мало беседовали. Он был скорее набожен, но в церковь ходил редко и попов, особенно сибирских, не любил. Говорил о Христе с восторгом».

Другое свидетельство о религиозности Достоевского — разрешение на брак, выданное ему командиром батальона, в котором он служил. В нем говорится: «Как он, так и невеста вероисповедания православного, г. Достоевский у исповеди и Святого Причастия ежегодно бывал».

Женился Достоевский в 1857 году на вдове таможенного чиновника Марии Дмитриевне Исаевой, в которую был безумно влюблен. Через несколько дней после свадьбы с ним случился сильнейший эпилептический припадок, до смерти напугавший жену, а его самого повергший в грусть и уныние. Доктор сказал ему, что у него настоящая падучая и что в один из таких припадков он умрет,

задохнувшись от горловой спазмы.

В 1858 году Достоевский получил полную амнистию, ему было возвращено дворянство и право печататься. В конце лета 1859 года он поселился в Твери, где ему очень не понравилось: «Теперь я заперт в Твери, — писал он, — и это хуже Семипалатинска. Хоть Семипалатинск в последнее время изменился совершенно. но Тверь в тысячу раз гаже. Сумрачно, холодно, каменные дома, никакого движения, никаких интересов, — даже библиотеки нет порядочной. Настоящая тюрьма! Намереваюсь как можно скорее выбраться отсюда».

Достоевский провел в Твери четыре месяца в ожидании разрешения на возвращение в столицу. За этим разрешением он обращался в разные инстанции, в том числе к самому императору, мотивируя свое желание вернуться в Петербург необходимостью лечения от эпилепсии.

## Эпилепсия

Когда с Достоевским начали случаться припадки болезни? Вспоминает Софья Ковалевская: «Мы с сестрой знали, что Федор Михайлович страдает падучей, но эта болезнь была окружена в наших глазах таким магическим ужасом, что мы никогда не решились бы и отдаленным намеком коснуться этого вопроса. К нашему удивлению, он сам об этом заговорил и стал нам рассказывать, при каких обстоятельствах произошел с ним первый припадок. Вот что рассказывал нам Достоевский. Он говорил, что болезнь эта началась у него, когда он был уже не на каторге, а на поселении. Он ужасно томился тогда одиночеством и целыми месяцами не видел живой души, с которой мог бы перекинуться разумным словом. Вдруг, совсем неожиданно, приехал к нему один его старый товарищ. Это было именно в ночь перед светлым Христовым Воскресеньем. Но на радостях свидания они и забыли, какая это ночь, и просидели ее всю напролет дома, разговаривая, не замечая ни времени, ни усталости и пьянея от собственных слов. Говорили они о том, что обоим всего было дороже, — о литературе, об искусстве и философии; коснулись, наконец, религии. Товарищ был атеист, Достоевский — верующий; оба горячо убежденные, каждый в своем. — Есть Бог, есть! — закричал, наконец, Достоевский вне себя от возбуждения. В эту самую минуту ударили колокола соседней церкви к светлой Христовой заутрене. Воздух весь загудел и заколыхался. — И я почувствовал, — рассказывал Федор Михайлович, — что небо сошло на землю и поглотило меня. Я реально постиг Бога и проникнулся Им. Да, есть Бог! — закричал я, — и больше ничего не помню».

Между тем в письме к императору Александру II от октября 1859 года Достоевский говорит: «В 1858 году Ваше Императорское Величество изволили даровать мне право на потомственное дворянское достоинство. В том же году я подал в отставку, вследствие падучей болезни, открывшейся во мне еще в первый год каторжной работы моей, и теперь, по получении отставки, переехал на жительство в город Тверь. Болезнь моя усиливается более и более. От каждого припадка я видимо теряю память, воображение, душевные и телесные силы. Исход моей болезни — расслабление, смерть или сумасшествие... А между тем врачи обнадеживают меня излечением, основываясь на том, что болезнь моя приобретенная, а не наследственная. Но медицинскую помощь, серьезную и решительную, я могу получить только в Петербурге, где есть медики, специально занимающиеся изучением нервных болезней».

Таким образом, мы имеем письменное свидетельство самого Достоевского о том, что эпилепсия началась у него в первый год пребывания на каторге. Это подтверждается и медицинским свидетельством от 1859 года: «В 1850 году в первый раз подвергся припадку падучей болезни (Epilepsia), которая обнаруживалась: вскрикиванием, потерей сознания, судорогами конечностей и лица, пеною перед ртом, хрипучим дыханием, с малым, скорым сокращенным пульсом. Припадок продолжался 15 минут. Затем следовала общая слабость и возврат сознания. В 1853 году этот припадок повторился и с тех пор является в конце каждого месяца».

Те моменты духовного просветления, которые Достоевский испытывал перед припадками эпилепсии, были для него особым опытом, которым он делился и с собеседниками, и с читателями романов. Софье Ковалевской он говорил: «Вы все, здоровые люди, и не подозреваете, что такое счастье, то счастье, которое испытываем мы, эпилептики, за секунду перед припадком. Магомет уверяет в своем Коране, что видел рай и был в нем. Он действительно был в раю в припадке падучей, которую страдал, как и я. Не знаю, длится ли это блаженство секунды, или часы, или месяцы, но, верьте слову, все радости, которые может дать жизнь, не взял бы я за него!»

Более подробное свидетельство о минутах, предшествовавших эпилептическому припадку, содержится в романе «Идиот», где о князе Мышкине рассказывается: «Он задумался, между прочим, о том, что в эпилептическом состоянии его была одна степень почти пред самым припадком... когда вдруг, среди грусти, душевного мрака, давления, мгновениями как бы воспламенялся его мозг и с необыкновенным порывом напрягались разом все жизненные силы его. Ощущение жизни, самосознания почти удесятерилось в эти мгновения, продолжавшиеся как молния. Ум, сердце озарялись необыкновенным светом: все волнения, все сомнения его, все беспокойства как бы умиротворялись разом, разрешались в какое-то высшее спокойствие, полное ясней, гармоничней радости и надежды, полное разума и окончательной причины. Эта секунда, по беспредельному счастью, им вполне ощущаемому, пожалуй, и могла бы стоить всей жизни. “В этот момент, — как говорил он однажды Рогожину, в Москве, во время их тамошних сходов, — в этот момент мне как-то становится понятно необычайное слово о том, что времени больше не будет. Вероятно, — прибавил он, улыбаясь, — это та же самая секунда, в которую не успел пролиться опрокинувшийся кувшин с водой эпилептика Магомета, успевшего, однако, в ту самую секунду обозреть все жилища Аллаховы”».

Достоевский дорожил этим особым и уникальным опытом кратковременных просветлений перед эпилептическими припадками. Однако сами припадки дорого ему обходились. Наиболее тяжелые из них выбивали его из колеи на несколько дней, приковывали к постели, лишали возможности работать. Его преследовал страх потерять рассудок, он жил в постоянных мучительных опасениях за свое будущее.

### **Снова на свободе**

Лишь в конце 1859-го Достоевский смог приехать в Петербург. Здесь он много читает и много пишет. Чтобы вернуться в большую литературу, ему необходимо повторить успех «Бедных людей». Однако второе пришествие Достоевского в литературный мир совершается менее заметно, чем ему хотелось бы. Одно за другим из-под его пера выходят новые сочинения, но ни одно из них не становится большим событием.

И лишь «Записки из Мертвого Дома», основанные на опыте жизни в каторге, вновь привлекают широкое внимание к Достоевскому. Никто до него не проникал столь глубоко в адские бездны тюремной жизни, не описывал столь подробно и красочно ужасающий быт заключенных, их нравы и обычаи. Восхищенный книгой, Герцен сравнил Достоевского с Данте, который водит читателя по кругам ада.

В поисках новых впечатлений и ради поправки здоровья Достоевский в 1862 году едет за границу, посещает Германию, Францию, Англию, Швейцарию, Италию и Австрию. Здесь у него появляется страсть к игре в рулетку. В течение всех 60-х годов эта страсть будет терзать его, нередко оставляя без гроша в кармане.

Опыт этого тяжелого периода в жизни писателя нашел воплощение в «Игроке». Прообразом Полины, героини этого сочинения, стала Аполлинария Сулова, роман с которой развивался у Достоевского в первой половине 1860-х на фоне смертельной болезни Марии Дмитриевны, угасавшей от чахотки.

1864 год ознаменовался для Достоевского двумя смертями. В апреле умирает Мария Дмитриевна. На следующий день после ее смерти Достоевский пишет: «Маша лежит на столе. Увижусь ли с Машей?» Вопрос о личном бессмертии перерастает в размышление о Христе как высочайшем нравственном идеале: «Возлюбить человека, как самого себя, по заповеди Христовой, — невозможно. Закон личности на земле связывает. “Я” препятствует. Один Христос мог, но Христос был вековечный от века идеал, к которому стремится и по закону природы должен стремиться человек. Между тем после появления Христа как идеала человека во плоти стало ясно как день, что высочайшее, последнее развитие личности именно и должно дойти до того... чтоб человек нашел, сознал и всей силой своей природы убедился, что высочайшее употребление, которое может сделать человек из своей личности, из полноты развития своего “я”, — это как бы уничтожить это “я”, отдать его целиком всем и каждому безраздельно и беззаветно. И это величайшее счастье... Это-то и есть рай Христов».

В июле умирает старший брат писателя Михаил — ближайший ему по духу человек, единомышленник и верный друг. Эта смерть стала главной причиной многолетних долгов Достоевского: он принял на себя все обязательства по ведению журнала «Эпоха», владельцем которого был Михаил, взявший на его издание значительные кредиты. Долги М. М. Достоевского ложились бременем на его вдову с семью разновозрастными детьми (от младенцев до подростков) и грозили ей разорением.

### **«Преступление и наказание»**

Новые впечатления не вытесняют старые, мир преступников и убийц продолжает жить в сердце писателя. И вот, будучи за границей, обремененный многочисленными долгами Достоевский задумывает роман, основные идеи которого набрасывает в записке, датированной 2 января 1866 года: «Православное воззрение, в чем есть Православие. Нет счастья в комфорте, покупается счастье страданием. Таков закон нашей планеты, но это непосредственное сознание, чувствуемое житейским процессом, — есть такая великая радость, за которую можно заплатить годами страдания. Человек не рождается для счастья. Человек заслуживает свое счастье, и всегда страданием». И далее о главном герое: «В его образе выражается в романе мысль непомерной гордости, высокомерия и презрения к этому обществу».

Фабулу романа Достоевский излагает в письме к издателю Каткову: «Это — психологический отчет одного преступления... Молодой человек, исключенный из студентов университета, мещанин по происхождению, и живущий в крайней бедности, по легкомыслию, по шатости в понятиях поддавшись некоторым странным “недоконченным” идеям, которые носятся в воздухе, решил разом выйти из скверного своего положения. Он решил убить одну старуху, титулярную советницу, дающую деньги на проценты. Почти месяц он проводит после того до окончательной катастрофы. Никаких на него подозрений нет и не может быть. Тут-то и развертывается весь психологический процесс преступления. Неразрешимые вопросы встают перед убийцею, неподозреваемые и неожиданные чувства мучают его сердце. Божия правда, земной закон берет свое, и он — кончает тем, что принужден сам на себя донести. Принужден, чтобы хотя погибнуть в каторге, но примкнуть опять к людям. Преступник сам решает принять муки, чтоб искупить свое дело».

Ключевые слова здесь: Божия правда. Она довлеет над преступником, она выявляется в муках его совести, в его внутренних метаниях и колебаниях. Она же звучит в словах следователя Порфирия, которому не за что зацепиться, кроме как за совесть преступника. Медленно, но верно он начинает склонять Раскольникова к признанию, апеллируя к этой самой Божией правде.

В беседе со следователем Раскольников излагает суть своей теории. Все люди подразделяются на две категории: обыкновенные и необыкновенные. «Первые сохраняют мир и приумножают его

численно; вторые двигают мир и ведут его к цели». Первые представляют собой материал для зарождения себе подобных: они должны быть послушными и жить по закону. Необыкновенный человек ради благородных целей имеет право «разрешить своей совести перешагнуть... через иные препятствия, и единственно в том только случае, если исполнение его идеи (иногда спасительной, может быть, для всего человечества) того потребует». Что это за препятствия? Через что имеет право перешагнуть необыкновенный человек? «Хотя бы и через труп, через кровь», — отвечает Раскольников. По его теории, «законодатели и установители человечества, начиная с древнейших, продолжая Ликургами, Солонами, Магометами, Наполеонами и так далее, все до единого были преступники. Замечательно даже, что большая часть этих благодетелей и установителей человечества были особенно страшные кровопроливцы».

Так было всегда, так будет «вплоть до Нового Иерусалима», считает Раскольников. «Так вы все-таки верите же в Новый Иерусалим?» — прерывает его следователь. «Верую», — твердо отвечает Раскольников. «И-и-и в Бога веруете?» — «Верую». — «И-и в воскресение Лазаря веруете?» — «Верую» — «Буквально веруете?» — «Буквально».

В чем смысл этого диалога? Дело в том, что, по мнению следователя, вера в Бога, в бессмертие и вечную жизнь, в чудеса Иисуса Христа несовместима с теорией, согласно которой цель оправдывает средства. Это два разных, принципиально противоположных и несовместимых подхода к нравственным ценностям.

Социалистические революционные теории, которыми Достоевский увлекался в молодости и которые озвучивались в кружке петрашевцев, не только допускают это право, но и делают его необходимым условием достижения всеобщего счастья. Социалисты учили, что всеобщее счастье возможно благодаря справедливому перераспределению капитала: надо отнять избытки у богатых и отдать бедным. А отъем капитала невозможен без насильственных действий по отношению к его владельцам.

Христианство стоит на принципиально иных позициях. Христианство не признает права человека на достижение каких бы то ни было целей безнравственными и преступными средствами. Более того, Христос вообще не был социальным реформатором и не призывал к изменению общественного строя. Счастье человека Он видел не в материальном богатстве, а в духовной жизни. Царство Божие невозможно построить на земле, но каждый человек может обрести его в собственном сердце. Эти простые истины были, несомненно, известны Раскольникову, а потому Порфирий и спрашивает его прямо о вере в Бога, в чудеса Христа и в «Новый Иерусалим», то есть бессмертие.

Впрочем, Раскольников не вполне искренен, когда отвечает на вопросы следователя. Свидригайлову он прямо говорит: «Я не верю в будущую жизнь». А Соне Мармеладовой он сказал со злым смехом:

«Да, может, и Бога-то совсем нет». Когда она это услышала, ее лицо «вдруг страшно изменилось: по нем пробежали судороги. С невыразимым укором взглянула она на него, хотела было что-то сказать, но ничего не могла выговорить и только вдруг горько-горько зарыдала, закрыв руками лицо».

Вопрос о бытии Божиим был главным вопросом Достоевского: над ответом на него он бился всю жизнь.

Даже после того, как он вновь стал глубоко верующим и воцерковленным человеком, сомнения и колебания посещали его. Вспомним слова из письма Фонвизиной: «Я — дитя века, дитя неверия и сомнения до сих пор и даже... до гробовой крышки». В его романах герои постоянно спорят о том, есть ли Бог или нет. «Так ты очень молишься Богу-то, Соня?» — спрашивает Раскольников. «Что ж бы я без Бога-то была?» — энергично отвечает она вопросом на вопрос. «А тебе Бог что за это делает?» — не унимается Раскольников. Она молчит. Он начинает ходить взад и вперед по комнате и видит

лежащую на комодe книгу. «Это был Новый Завет в русском переводе. Книга была старая, подержанная, в кожаном переплете». Та самая книга, которую Достоевский получил в подарок от Фонвизиной.

Раскольников просит Соню прочитать о воскресении Лазаря. Только что Порфирий спрашивал его, верит ли он в воскресение Лазаря. И теперь Соня по его просьбе открывает книгу и начинает читать:

«Иисус говорит ей: воскреснет брат твой. Марфа сказала Ему: знаю, что воскреснет в воскресение, в последний день. Иисус сказал ей: Я есмь воскресение и жизнь; верующий в Меня, если и умрет, оживет. И всякий живущий и верующий в Меня не умрет вовек. Верешь ли сему? Она говорит Ему (и как бы с болью переведа дух, Соня раздельно и с силою прочла, точно сама во всеуслышание исповедовала): Так, Господи! Я верую, что Ты Христос, Сын Божий, грядущий в мир». Она было остановилась, быстро подняла было на него глаза, но поскорей пересилила себя и стала читать далее... Она приближалась к слову о величайшем и неслыханном чуде, и чувство великого торжества охватило ее. Голос ее стал звонок, как металл; торжество и радость звучали в нем и крепили его. Строчки мешались перед ней, потому что в глазах темнело, но она знала наизусть, что читала. При последнем стихе: «немог ли Сей, отверзший очи слепому...» — она, понизив голос, горячо и страстно передала сомнение, укор и хулу неверующих, слепых иудеев, которые сейчас, через минуту, как громом пораженные, падут, зарыдают и уверуют. «И он, он — тоже ослепленный и неверующий, — он тоже сейчас услышит, он тоже уверует, да, да! сейчас же, теперь же», — мечталось ей, и она дрожала от радостного ожидания. «Итак, отняли камень от пещеры, где лежал умерший. Иисус же возвел очи к небу и сказал: Отче, благодарю Тебя, что Ты услышал Меня. Я и знал, что Ты всегда услышишь Меня; но сказал сие для народа, здесь стоящего, чтобы поверили, что Ты послал Меня. Сказав сие, воззвал громким голосом: Лазарь! иди вон. И вышел умерший, (громко и восторженно прочла она, дрожа и холодея, как бы воочию сама видела): обвитый по рукам и ногам погребальными пеленами; и лицо его обвязано было платком. Иисус говорит им: развяжите его; пусть идет».

Чтение отрывка из Евангелия от Иоанна — переломный момент во всем романе, его духовно-нравственная кульминация. С этого момента начинается постепенное осознание Раскольниковым тяжести совершённого преступления, путь к покаянию и духовному перерождению. Не сразу и не быстро соглашается он сознаться в двойном убийстве. Сначала сознается Соне.

Соня Мармеладова — один из тех противоречивых характеров, которыми наполнены романы Достоевского. Внешне она принадлежит к категории «униженных и оскорбленных», внутренне сияет красотой. Узнав от Раскольникова о совершённом им преступлении, она не только не бросает его, но, наоборот, изъявляет готовность разделить его судьбу. Но требует от него, чтобы он во всем сознался следственным органам.

Долго и мучительно идет он к этому «чистосердечному признанию». Он мечется и колеблется: мечется между все более крепнущим желанием повиниться и страхом перед последствиями признания, колеблется между верой и неверием. Соня заставляет его перекреститься, он несколько раз поспешно крестится.

И даже после того, как он во всем признается и оказывается на каторге, его внутренние терзания продолжают продолжаться. Освобождение от теории, которая привела его к преступлению, совершается с огромным трудом. Соня помогает ему в этом, но не словами, а своим молчаливым присутствием, своей безусловной и безграничной верностью.

Роман завершается эпилогом, в котором вновь фигурирует Евангелие. Достоевский его не цитирует, просто обозначает его присутствие в жизни героя: «Под подушкой его лежало Евангелие. Он взял его машинально. Эта книга принадлежала ей, была та самая, из которой она читала ему о воскресении Лазаря. В начале каторги он думал, что она замучит его религией, будет заговаривать о

Евангелии и навязывать ему книги. Но, к величайшему его удивлению, она ни разу не заговаривала об этом, ни разу даже не предложила ему Евангелия. Он сам попросил его у ней незадолго до своей болезни, и она молча принесла ему книгу. До сих пор он ее и не раскрывал. Он не раскрыл ее и теперь, но одна мысль промелькнула в нем: “Разве могут ее убеждения не быть теперь и моими убеждениями? Ее чувства, ее стремления, по крайней мере”... Но тут уж начинается новая история, история постепенного обновления человека, история постепенного перерождения его, постепенного перехода из одного мира в другой, знакомства с новой, доселе совершенно неведомой действительностью».

Эта концовка романа глубоко символична. Раскольников даже еще не раскрыл Евангелие, но именно оно задает главный вектор того процесса, который Достоевский обозначает как обновление и перерождение. Этот процесс в романе не описан: он остается за кадром, и читателю только остается гадать, что произойдет с Раскольниковым дальше, как повлияет на него Евангелие. Разгадку придется искать в других произведениях Достоевского, написанных после «Преступления и наказания».

Все романы Достоевского в большей или меньшей мере автобиографичны. Свой опыт, эпизоды из собственной жизни, свои воззрения, взгляды своих идейных противников — все это распределяет он между персонажами своих романов. И история с Евангелием под подушкой, безусловно, автобиографична. Достоевский, в отличие от Раскольникова, не совершал убийства. Но и он в молодости увлекался теориями, подобными той, которой увлекся Раскольников. В этом заключалось его преступление, и свое наказание он нес как заслуженное, видел в нем возможность переродиться и очиститься. На этом пути Евангелие было его путеводителем, а сияющий образ Христа — путеводной звездой.

Была в жизни Достоевского и своя Соня Мармеладова. Ее звали Анна Григорьевна Сниткина, она была стенографисткой, и он познакомился с ней во время работы над романом «Игрок». Анна Григорьевна обладала кротким и смиренным нравом, а главное — безграничной верностью ему. Глубокая религиозность сочеталась в ней с деловитостью и практичностью. В 1867 году Достоевский женился на ней и был счастлив в этом браке, подарившем ему четверых детей.

«Преступление и наказание» стало первым романом «великого пятикнижия», принесшего Достоевскому мировую славу и признание. В следующих четырех романах он будет развивать и углублять темы, намеченные в «Преступлении и наказании». И каждый из них станет одной из глав его собственного Евангелия, в котором он будет раскрывать перед читателем образ Христа и великие христианские истины.

## **Глава 2. В поисках положительного героя**

«Главная мысль романа — изобразить положительно прекрасного человека. Труднее этого нет ничего на свете, а особенно теперь... На свете есть одно только положительно прекрасное лицо — Христос, так что явление этого безмерно, бесконечно прекрасного лица уж, конечно, есть бесконечное чудо. Все Евангелие Иоанна в этом смысле: он все чудо находит в одном воплощении, в одном появлении прекрасного». Так пишет Достоевский своей племяннице в 1868 году.

В это время он работает над романом «Идиот», действие которого разворачивается в Петербурге и Павловске. «Павловск в романе совмещает признаки из разных пространственных рядов: являясь неразрывной частью петербургского пространства, он в то же время в качестве удаленной от столицы пространственной периферии со всеми его тенистыми парками и дачными участками играет роль провинции. Как место отличное от гнетущего Петербурга, Павловск воспринимается героями как возможное убежище от происшедших катастроф и скандалов, может быть, поэтому в надежде обрести душевное равновесие сюда будто бы бегут все герои романа» (Н. Сабаева).

Русским писателям и поэтам редко удавались положительные герои. Гоголь достиг высочайшего мастерства в изображении героев отрицательных, в сатирическом описании людей, олицетворявших разнообразные пороки. Этому посвящен первый том его «поэмы» «Мертвые души». Но когда он попытался написать второй том, в котором хотел представить положительных персонажей, это ему не удалось. «...Бог, Который лучше нас знает время всему, не полагал на это Своей воли, отъявши на долгое время от меня способность творить, — говорил он с горечью. — Я мучил себя, насиловал писать, и все выходило принужденно и дурно». Дело кончилось тем, что после двенадцати лет работы он сжег рукопись второго тома.

### Своеобразие героев Достоевского

Герои Достоевского редко бывают безусловно положительными. У большинства его героев порок сочетается с добродетелью, зло сожительство с добром, иной раз переплетаясь самым неожиданным, причудливым и противоестественным образом. Очень характерен для Достоевского резкий контраст между внешней оболочкой и внутренним содержанием: Соня Мармеладова является уличной женщиной, но при этом сияет внутренней красотой; Настасья Филипповна внешне красива, внутренне порочна; у Ставрогина яркая, привлекательная внешность и чудовищное, безобразное нутро.

Достоевского часто называли психологом, а он называл себя «реалистом». Но персонажи, подобные тем, которых он описывает, в реальной жизни встречаются крайне редко. «Сомнительно, можно ли всерьез говорить о “реализме”... писателя, создавшего целую галерею неврастеников и душевнобольных», — язвил Набоков, очень не любивший Достоевского. И действительно, мир Достоевского — это, по большей части, мир неврастеников, истериков, эпилептиков, людей экзальтированных, одержимых какой-то идеей и ради этого готовых на преступления, людей надорванных, надломленных, раздвоенных, раздраемых страстями и противоречиями.

Реализм Достоевского заключается не в том, что он достоверно воспроизводит действительность, а в том, что он докапывается до самых глубоких тайников человеческой личности, показывая, как в одном человеке могут уживаться противоположные начала.

«У Достоевского была почти религиозная концепция творчества, — пишет В. Н. Захаров. — Как священник на исповеди, писатель был исповедником своих героев. Их грехи становились его грехами, увеличивая тяжесть его креста. Свою вину герои и их автор разрешают самым актом творчества: исповедью, покаянием и искуплением своих и чужих грехов». В романе «Идиот» есть сцена, где герои, собравшись в салоне, начинают «игру»: каждый из них должен рассказать остальным о самом низком, постыдном поступке своей жизни. И вот, один за другим, они вовлекаются в эту странную игру, требующую публичной исповеди от каждого.

Достоевский, как правило, оставляет за кадром «профессиональную» жизнь своих героев: в основном они проводят время не за работой, а в долгих самооткровениях, в многословных выяснениях взглядов друг друга на мир и бытие. Действие разворачивается за завтраками, обедами и ужинами, в гостиных и столовых, где герои непрестанно о чем-то спорят. «С обычной точки зрения, — пишет Николай Бердяев, — герои Достоевского могут производить впечатление бездельников. Но отношения между людьми и есть самое серьезное, единственное серьезное “дело”. Никакого другого “дела”, никакого жизнестроительства в бесконечно разнообразном человеческом царстве Достоевского найти нельзя. Образуется какой-то центр, центральная человеческая личность, и все вращается вокруг этой оси».

### Князь Мышкин

Центральной фигурой романа «Идиот» является князь Лев Николаевич Мышкин, потомок древнего дворянского рода, страдающий тяжелым недугом — эпилепсией.

Но герой Достоевского был не просто эпилептиком. И в названии романа, и в его тексте за ним закреплено наименование «идиот». Сначала сам князь употребляет его в разговоре с генералом Епанчиным, а потом его употребляют все окружающие князя. В какой-то момент князя начинает обижать, что его называют идиотом. В одном из своих длинных монологов он говорит: «Меня тоже за идиота считают все почему-то, я действительно был так болен когда-то, что тогда и похож был на идиота; но какой же я идиот теперь, когда я сам понимаю, что меня считают за идиота?» В другом случае князь болезненно реагирует на реплику Иволгина-младшего: «Я должен вам заметить, Гаврила Ардалионович... что я прежде действительно был так нездоров, что и в самом деле был почти идиот; но теперь я давно уже выздоровел, и потому мне несколько неприятно, когда меня называют идиотом в глаза».

В общей сложности слово «идиот» вместе с производными от него встречается в тексте романа около 60 раз. Но чем чаще звучит это слово, тем более противоестественным оно кажется читателю по отношению к герою, поступки и слова которого демонстрируют исключительное, неземное благородство. Он всем старается помочь, никого не осуждает, всюду являет своим примером высокий нравственный идеал. В духовно-нравственном отношении он неизмеримо выше всех остальных персонажей романа, и каждый по-своему чувствует эту высоту. При этом для всех он остается идиотом, юродивым, человеком «не от мира сего». «Совсем ты, князь, выходишь юродивый, — говорит ему Рогожин. — И таких, как ты, Бог любит!»

Создавая образ князя Мышкина, Достоевский вдохновлялся образами некоторых положительных литературных героев, из которых на первое место ставил Дон Кихота: «Из прекрасных лиц в литературе христианской стоит всего законченнее Дон Кихот. Но он прекрасен единственно потому, что смешон», — пишет Достоевский своей племяннице. В образе князя Мышкина причудливо сочетаются черты Христа из Евангелия, Иисуса из книги Ренана, Дон Кихота из романа Сервантеса и, конечно, характерные особенности самого Достоевского, включая его эпилепсию.

Среди прототипов князя Мышкина исследователи видят и реальных лиц, в частности Федора Петровича Гааза, которого называли «святым доктором» за его исключительное милосердие, благотворительность, нестяжание, попечение о бедных и арестантах. В романе «Идиот» о нем говорится: «В Москве жил один старик, один “генерал”, то есть действительный статский советник, с немецким именем; он всю свою жизнь таскался по острогам и по преступникам... Он делал свое дело в высшей степени серьезно и набожно; он являлся, проходил по рядам ссыльных, которые окружали его, останавливался пред каждым, каждого расспрашивал о его нуждах, наставлений не читал почти никогда никому, звал их всех “голубчиками”. Он давал деньги, присылал необходимые вещи — портянки, подвертки, холста, приносил иногда душеспасительные книжки и оделял ими каждого грамотного. Все преступники у него были на равной ноге, различия не было. Он говорил с ними как с братьями, но они сами стали считать его под конец за отца. Если замечал какую-нибудь ссыльную женщину с ребенком на руках, он подходил, ласкал ребенка, пощелкивал ему пальцами, чтобы тот засмеялся. Так поступал он множество лет, до самой смерти; дошло до того, что его знали по всей России и по всей Сибири...»

Среди других возможных прототипов Мышкина называют литературного критика князя Одоевского, писателя и поэта Огарева, с которым Достоевский сошелся в Женеве, племянника писателя Карепина, которого в семье прозвали «идиотом» за особенности его характера. Таково свойство творчества Достоевского: будучи чрезвычайно наблюдательным и впечатлительным, он тщательно изучает окружающих людей, наделяя своих персонажей их чертами.

Однако в каждом положительном герое он пытается узреть, прежде всего, «сияющий образ Христа». Именно евангельский образ Христа является тем безусловным нравственным ориентиром, который стоит перед глазами писателя и к которому он пытается приблизиться через личность князя Мышкина. В черновых набросках к роману он называл своего героя «князем Христом». Трижды в

набросках к роману упоминается книга французского писателя Ренана «Жизнь Иисуса», в которой сделана попытка «гуманизировать» образ Христа, приблизить его к восприятию современников, зараженных рационализмом и нигилизмом.

Параллели между Христом и князем Мышкиным многочисленны. Прежде всего образ князя-идиота напоминает о том, что «Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное» (1 Кор. 1:27). Образ жизни, мышления и действий князя резко отличается от всех окружающих. Он — не от мира сего и живет не по законам мира сего, а по евангельскому закону любви и всепрощения. Он нестяжателен, деньги и материальные блага для него ничего не значат. Он не замечает дурных качеств людей, в каждом старается увидеть только хорошее. Он преисполнен любви к людям. Он готов простить каждого еще до того, как тот попросит о прощении.

Параллели между евангельским Христом и героем Достоевского бывают даже буквальными. Христос говорит книжнику: «Лисицы имеют норы и птицы небесные — гнезда, а Сын Человеческий не имеет, где приклонить голову» (Мф. 8:20). А князь Мышкин говорит Епанчину: «Благодарю вас, генерал, вы поступили со мной как чрезвычайно добрый человек... я и действительно не знал, куда голову приклонить». Иисус обращается к Богу Отцу: «Славлю Тебя, Отче, Господи неба и земли, что Ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл то младенцам» (Мф. 11:25). А Лебедев говорит о князе Мышкине: «Утаил от премудрых и разумных и открыл младенцам, я это говорил еще и прежде про него, но теперь прибавлю, что и самого младенца Бог сохранил и спас от бездны. Он и все святые Его». Христос говорит: «Если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное» (Мф. 18:3). А Епанчин о Мышкине отзывается: «Совершенный ребенок, и даже такой жалкий»; «он почти как ребенок, впрочем образованный». И сам Мышкин рассказывает про своего швейцарского доктора: «Шнейдер мне высказал одну очень странную свою мысль. Он сказал мне, что он вполне убедился, что я сам совершенный ребенок, то есть вполне ребенок, что я только ростом и лицом похож на взрослого, но что развитием, душой, характером и, может быть, даже умом я не взрослый, и так и останусь, хотя бы я до шестидесяти лет прожил».

Подобно тому, как Христос неожиданно вторгся в жизнь людей Своего времени, князь Мышкин неожиданно появляется на сцене, вторгается в устоявшийся быт и оказывается центральной фигурой в жизни целой группы людей, ранее даже не подозревавших о его существовании. Подобно тому, как в присутствии Христа выявлялись пороки людей, ранее остававшиеся незамеченными, присутствие князя Мышкина становится катализатором процессов, о которых в Апокалипсисе сказано: «Неправедный пусть еще делает неправду; нечистый пусть еще сквернится; праведный да творит правду еще, и святой да освящается еще» (Откр. 22:11). Как при ярком свете, который выявляет не только прекрасное, но и безобразное, в присутствии князя Мышкина не только обнаруживаются прекрасные качества людей, но и обнажаются их недостатки и пороки. В этом смысле пришествие князя Мышкина в мир героев романа становится «судом», перед которым каждый из них должен держать ответ.

## Поиск Христа

Богоискательство и поиск своего, «русского Христа» был одной из тенденций русской культуры второй половины XIX века. Гоголь в последние годы жизни напряженно и мучительно искал свой путь ко Христу, написал даже целое толкование на текст Божественной литургии.

В Риме Гоголь сблизился с художником Александром Ивановым, работавшим в это время над картиной «Явление Христа народу». Картина, которая должна была стать дипломной работой художника, стала полотном всей его жизни. Христос занимает в ней духовно центральное место, хотя и изображен в отдалении от основной группы людей, пришедших к Иоанну Крестителю на Иордан. В

этой группе ближайшее место ко Христу занимает Гоголь, согласившийся позировать Иванову специально для этой картины.

Достоевский не мог пройти мимо картины Иванова. Что же касается шедевра Крамского «Христос в пустыне», то эту картину Достоевский видел на выставке передвижников в 1872 году. Здесь Христос изображен сидящим на камне: на Его лице следы глубоких раздумий, у Него взгляд человека, погруженного в себя, руки напряженно сжаты.

Художник Илья Репин вспоминает о том, как посещал Крамского во время работы над этой картиной: «За чаем он оживился совсем. Начав понемногу о Христе, по поводу образа, он уже не переставал говорить о Нем весь этот вечер. Сначала я плохо понимал его, мне очень странным казался тон, которым он начал говорить о Христе: он говорил о Нем как о близком человеке. Но потом мне вдруг стала ясно и живо представляться эта глубокая драма на земле, эта действительная жизнь для других. “Да, да, конечно, — думал я, — ведь это было полное воплощение Бога на земле”. И далее я был совершенно поражен этим живым воспроизведением душевной жизни Христа. И казалось, в жизнь свою я ничего интереснее этого не слышал».

Одним из источников вдохновения для Крамского послужила картина Тициана «Динарий кесаря». Эту картину любил и Достоевский. Анна Григорьевна вспоминает: «Федор Михайлович выше всего в живописи ставил произведения Рафаэля и высшим его произведением признавал “Сикстинскую Мадонну”. Чрезвычайно высоко ценил талант Тициана, в особенности его знаменитую картину “Христос с монетой”, и подолгу стоял, не отводя глаз от этого гениального изображения Спасителя». На нем «лицо Христа выражает удивительную кротость, величие, страдание». Имеется в виду картина «Динарий кесаря».

Как предполагают некоторые исследователи, в 1867 году Достоевский видел в Москве картину «Се Человек», которую тогда считали произведением Дюрера. Эта картина висела в храме в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость», напротив которого находился дом Куманиных, где Достоевский часто бывал. После революции картина была из храма перенесена в Пушкинский музей, где хранится по сей день. Автором ее считается голландский живописец первой половины XVI века Ян Мостарт. На картине Христос, бледный, в терновом венце, изображен со связанными впереди руками; Его рот приоткрыт, глаза полузакрыты, из правого глаза вытекает крупная слеза. Предположительно, именно эту картину описывает в романе «Идиот» князь Мышкин, когда говорит: «Нарисуйте эшафот так, чтобы видна была ясно и близко одна только последняя ступень; преступник ступил на нее: голова, лицо бледное как бумага, священник протягивает крест, тот с жадностью протягивает свои синие губы, и глядит, и — все знает. Крест и голова — вот картина, лицо священника, палача, его двух служителей и несколько голов и глаз снизу».

Глубокое и сильное впечатление на писателя произвела картина Гольбейна «Мертвый Христос», которую он увидел в Базеле в том же 1867 году. О ней в «Письмах русского путешественника» упоминает Карамзин: «В Христе, снятом со креста, не видно ничего божественного, но как умерший человек изображен Он весьма естественно. По преданию рассказывают, что Гольбейн писал Его с одного утопшего жила».

Вспоминает Анна Григорьевна: «По дороге в Женеву мы остановились на сутки в Базеле, с целью в тамошнем музее посмотреть картину, о которой муж от кого-то слышал. Эта картина, принадлежавшая кисти Ганса Гольбейна, изображает Иисуса Христа, вынесшего нечеловеческие истязания, уже снятого со креста и предавшегося тлению. Вспухшее лицо Его покрыто кровавыми ранами, и вид Его ужасен. Картина произвела на Федора Михайловича подавляющее впечатление, и он остановился перед нею как бы пораженный. Я же не в силах была смотреть на картину: слишком уж тяжелое было впечатление... и я ушла в другие залы. Когда минут через пятнадцать-двадцать я вернулась, то нашла, что Федор Михайлович продолжает стоять перед картиной как прикованный. В его взволнованном лице было то как бы испуганное выражение, которое мне не раз случалось замечать

в первые минуты приступа эпилепсии. Я потихоньку взяла мужа под руку, увела в другую залу и усадила на скамью, с минуты на минуту ожидая наступления припадка. К счастью, этого не случилось: Федор Михайлович понемногу успокоился и, уходя из музея, настоял на том, чтобы еще раз зайти посмотреть столь поразившую его картину».

В романе «Идиот» эта картина занимает очень важное место. Сначала князь Мышкин порывается рассказать о том, как видел ее в Швейцарии. Потом он видит копию этой картины в петербургской квартире Рогожина и говорит с удивлением: «Да это... это копия с Ганса Гольбейна. Я эту картину за границей видел и забыть не могу». Прямо перед картиной происходит диалог Мышкина и Рогожина о вере в Бога:

*— А что, Лев Николаич, давно я хотел тебя спросить, веруешь ты в Бога или нет? — вдруг заговорил опять Рогожин, пройдя несколько шагов.*

*— Как ты странно спрашиваешь и... глядишь! — заметил князь невольно.*

*— А на эту картину я люблю смотреть, — пробормотал, помолчав, Рогожин, точно опять забыв свой вопрос.*

*— На эту картину! — вскричал вдруг князь, под впечатлением внезапной мысли, — на эту картину! Да от этой картины у много еще вера может пропасть!*

Наконец, об этой же картине рассказывает Ипполит, являющийся своеобразным двойником и Достоевского, и Мышкина: «На картине этой изображен Христос, только что снятый со креста. Мне кажется, живописцы обыкновенно повалились изображать Христа и на кресте, и снятого со креста, все еще с оттенком необыкновенной красоты в лице; эту красоту они ищут сохранить ему даже при самых страшных муках. В картине же Рогожина о красоте и слова нет: это в полном виде труп человека, вынесенного бесконечные муки еще до креста, раны, истязания, битье от стражи, битье от народа, когда Он нес на Себе крест и упал под крестом, и наконец крестную муку в продолжение шести часов».

Почему Достоевского интересуют все эти подробности? Почему в таких деталях он описывает не только саму картину, но и евангельский сюжет, послуживший для нее источником вдохновения? Достоевский был хорошо знаком с богословской литературой, в которой подчеркивалась Божественная природа Христа. Он хорошо знал традицию иконописного изображения Распятия. На православных иконах Распятия Христос представлен не страдающим, а уже умершим. При этом лик Его выражает спокойствие, тело благообразно, лишь следы от ран на руках и ногах и от раны в боку деликатно и тонко прописываются художником. Человеческий аспект страданий Христа, мука Его агонии, следы на теле от бичевания и ударов — все это как бы остается за кадром.

Достоевский искал подход к реальному, живому Христу. Подобно Крамскому, он говорил о Христе как о близком человеке. И его очень интересовали те подробности жизни и смерти Христа, которые ни в Евангелии не раскрыты подробно, ни на иконах не изображаются. Мало кто в его времена знал об ужасающих деталях казни Иисуса Христа, о том, каким было бичевание в Римской империи, какие нечеловеческие муки испытывал всякий распятый. Достоевский хотел проникнуть в подробности этой истории, жадно хватался за любые источники, будь то книга Ренана или полотно Гольбейна.

При этом Достоевский прекрасно знал учение Церкви о Христе и выделял в этом учении один конкретный аспект. Он отражен в словах Ипполита: «Я знаю, что Христианская Церковь установила еще в первые века, что Христос страдал не образно, а действительно, и что и тело Его, стало быть, было подчинено на кресте закону природы вполне и совершенно». Будучи Богочеловеком, Христос страдал на кресте как человек, и Божественная природа Христа не делала эти страдания менее мучительными.

Описывая картину Гольбейна, Ипполит задается вопросами: «Если такой точно труп... видели все ученики Его, Его главные будущие апостолы, видели женщины, ходившие за Ним и стоявшие у

креста, все веровавшие в Него и обожавшие Его, то каким образом могли они поверить, смотря на такой труп, что этот Мученик воскреснет?.. Если так ужасна смерть и так сильны законы природы, то как же одолеть их? Как одолеть их, когда не победил их теперь даже Тот, Который побеждал и природу при жизни Своей, Которому она подчинялась, Который воскликнул: “Талифа куми”, — и девица встала, “Лазарь, гряди вон”, — и вышел умерший?»

Вновь мы слышим о воскресении Лазаря — центральном евангельском сюжете из романа «Преступление и наказание». Но упоминание о нем нанизывается на целую серию вопросов, которые в течение всей жизни ставил перед собой Достоевский. Бытие Божие, Богочеловечество Христа, бессмертие человека, вечная жизнь за гробом — ни один из этих аспектов христианского вероучения не был для Достоевского простой и несомненной данностью. Его ум, еще в молодости зараженный нигилистическими, рационалистическими и атеистическими идеями, нуждался в постоянном подтверждении истинности христианских догматов. Вот почему диалоги его героев нередко возвращаются вокруг них.

Ответы на эти вопросы Достоевский искал через всматривание в человеческий лик Христа, вслушивание в Его слова. Вспомним «символ веры» Достоевского, сформулированный им по выходе из каторги: «Верить, что нет ничего прекраснее, глубже, симпатичнее, разумнее, мужественнее и совершеннее Христа, и не только нет, но с ревнивою любовью говорю себе, что и не может быть. Мало того, если б кто мне доказал, что Христос вне истины, и действительно было бы, что истина вне Христа, то мне лучше хотелось бы оставаться со Христом, нежели с истиной». Любовь ко Христу как Личности была важнее для него, чем любое философское учение, и ради личной встречи с живым Христом он готов был отказаться от любой философской или богословской «истины».

Христос для Достоевского — это «великий и конечный идеал развития всего человечества», «отражение Бога на земле». Всматриваясь в Божественный лик Христа, Достоевский через Него не только открывал для себя Бога. Явление Христа стало и наивысшим откровением Бога о человеке, о смысле его бытия, о его предназначении и конечной судьбе.

Вот почему Достоевскому чужд тот гуманизм, который объявляет «мерой всех вещей» человека. Для него мера всех вещей — Богочеловек Иисус Христос. Пройдя в молодости через искушение атеистического гуманизма, через увлечение теориями европейских социалистов, Достоевский пришел к вере во Христа. Эта вера дорого обошлась ему. В последней записной тетради имеются такие слова: «Не как мальчик же я верую во Христа и Его исповедую, а через большое горнило сомнений моя осанна прошла».

### Достоевский и Толстой

Живое, трепетное отношение к личности Христа в сочетании с твердой верой в Него как Богочеловека — вот то, что отличает Достоевского от многих других русских писателей, особенно от Толстого.

О двух гигантах русской литературы много написано, их часто сравнивали друг с другом. Даже образом жизни они резко отличались. Толстой был русским баринем, никогда не нуждался в деньгах, пытался слиться с народом через ношение холщовой рубахи, мужицких штанов и кирзовых сапог, но внутренне оставался частью своего барского мира, который и нашел всестороннее отражение в его романах. Достоевский четыре года прожил на самом дне, стал плотью от плоти народных «низов», познал изнутри мир преступников и грабителей; выйдя на свободу, он всю жизнь нуждался в деньгах, должен был много писать, даже когда не хотел, поскольку платили ему за каждый печатный лист.

В религиозном отношении Толстой и Достоевский тоже были антиподами. Будучи воспитан в православной вере, Толстой в какой-то момент отошел от нее. О своем духовном пути Толстой говорит в «Исповеди»: «Я был крещен и воспитан в православной христианской вере. Меня учили ей

и с детства, и во все время моего отрочества и юности. Но когда я 18-ти лет вышел со второго курса университета, я не верил уже ни во что из того, чему меня учили». В 27 лет Толстой впервые задумывается о создании собственной религии: «Нынче я причащался. Вчера разговор о божественном и вере навел меня на великую громадную мысль, осуществлению которой я чувствую себя способным посвятить жизнь. Мысль эта — основание новой религии, соответствующей развитию человечества, религии Христа, но очищенной от веры и таинственности, религии практической, не обещающей будущее блаженство, но дающей блаженство на земле».

В «Исповеди» Толстой откровенно рассказывает о том образе жизни, бездумном и безнравственном, который он вел в молодости, и о духовном кризисе, поразившем его в пятидесятилетнем возрасте. Этот кризис едва не довел его до самоубийства. В поисках выхода Толстой погрузился в чтение философской и религиозной литературы, попытался даже вернуться в Церковь, впервые после долгого перерыва исповедовался и причастился.

Однако Причастие не оказало на Толстого обновляющего и животворящего действия. Напротив, оно оставило в душе писателя тяжелый след. В «Исповеди» он пишет: «Никогда не забуду мучительного чувства, испытанного мною в тот день, когда я причащался в первый раз после многих лет... Когда я подошел к царским дверям и священник заставил меня повторить то, что я верю, что то, что я буду глотать, есть истинное Тело и Кровь, меня резнуло по сердцу; это мало что фальшивая нота, это — жестокое требование кого-то такого, который, очевидно, никогда и не знал, что такое вера. Я смирился, проглотил эту Кровь и Тело без кощунственного чувства, с желанием поверить, но удар уже был нанесен. И, зная вперед, что ожидает меня, я уже не мог идти в другой раз».

Возвращение Толстого к Православию было кратковременным и поверхностным. В христианстве он воспринял только нравственную сторону, вся же мистическая сторона, включая таинства, осталась для него чуждой. Мировоззрение Толстого характеризовал крайний рационализм, и именно этот рационализм не позволил ему воспринять христианство во всей полноте. После долгих и мучительных поисков, так и не закончившихся встречей с личным Богом, с Богом живым, Толстой пришел к воплощению своей юношеской мечты — созданию своей собственной религии, которая основывалась на вере в Бога как безличное начало, руководящее человеческой нравственностью.

Более того, толстовский Бог — это производное от нравственности, а не наоборот. Не Бог создает человека, а человек в своей душе создает некоего бога: «Если есть какой-нибудь Бог, то только тот, которого я знаю в себе, как самого себя, а также и во всем живом. Говорят: нет материи, вещества. Нет, она есть, но она только то, посредством чего Бог не есть ничто, не есть не живой, но живой Бог, посредством чего Он живет во мне и во всем. Надо помнить, что моя душа не есть что-то — как говорят — божественное, а есть Сам Бог. Как только я Бог, сознаю себя, так нет ни зла, ни смерти, ничего, кроме радости». Отрицая бытие личного Бога, Толстой отрицал и опыт молитвы, считая молитву ненужным и бессмысленным действием.

Религия Толстого, сочетавшая в себе отдельные элементы христианства, буддизма и ислама, граничила с пантеизмом. В Иисусе Христе Толстой не признавал воплотившегося Бога, считая Его лишь одним из выдающихся учителей нравственности, наряду с Буддой, Магометом и Конфуцием.

Если Толстого в христианстве интересовала прежде всего мораль, то для Достоевского главным в христианстве был Христос. Догмат Боговоплощения, учение о том, что Бог стал Человеком, Слово стало плотью, — вот сердцевина христианства по Достоевскому: «Не мораль Христова, не учение Христа спасет мир, а именно вера в то, что Слово плоть бысть, что идеал был во плоти, а стало быть, не невозможен и достижим всему человечеству. Христос и приходил затем, чтобы человечество узнало, что знания, природа духа человеческого может явиться в таком небесном блеске, в самом деле и во плоти, а не то что в одной только мечте и в идеале, что это естественно и возможно. Этим и земля оправдана. Последователи Христа, обоготворившие эту просиявшую плоть, засвидетельствовали в жесточайших муках, какое счастье носить в себе эту плоть, подражать совершенству этого Образа и

веровать в Него во плоти. Тут именно все дело, что Слово в самом деле плоть бысть. В этом вся вера и все утешение человечества».

Поиск истины увел Толстого от Церкви, а Достоевского вернул в Церковь. Говоря о том, что ему «лучше хотелось бы оставаться со Христом, нежели с истиной», Достоевский помнил евангельские слова Христа: «Я есмь путь и истина и жизнь» (Ин. 14:6). Истина в христианстве — не отвлеченное философское понятие. Истина — это Сам Христос, Единородный Сын Божий, Бог и Человек в одном Лице.

И Толстой, и Достоевский всю жизнь читали Евангелие. Но вычитали они из него совершенно разные вещи. Толстого привлекало учение Христа, в частности Его слова о непротивлении злу силой. Он выступал против службы в армии, был апологетом абсолютного и безоговорочного пацифизма. Толстой отрицал Божественную природу Христа и вслед за немецкими и французскими рационалистами XIX века создавал свою «религию в пределах только разума». Не владея по-настоящему греческим языком, он даже сделал свой собственный «перевод» Евангелия, представлявший собой кощунственную пародию на него. Все чудеса Христа в этом «переводе» были либо вообще выброшены, либо перетолкованы в рационалистическом духе. Толстой отрицал основные догматы христианства, вырастающие из евангельской истории Христа: о Его рождении от Девы, о том, что Он совершал исцеления и воскрешал мертвых, о Его собственном воскресении из мертвых.

Достоевского, напротив, привлекали рассказы о чудесах Христа, и тема воскресения из мертвых была для него центральной. Эта тема была главной и в первохристианской проповеди. Апостол Павел писал христианам Коринфа: «Если нет воскресения мертвых, то и Христос не воскрес; а если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша» (1 Кор. 15:13-14). Для Достоевского воскресение Христа — предмет веры, а воскресение мертвых — предмет надежды и упования.

Без воскресения мертвых и без будущей жизни обесмысливается для Достоевского жизнь земная: «Вся история как человечества, так, отчасти, и каждого отдельно, есть только развитие, борьба, стремление и достижение этой цели... Итак, человек есть на земле существо только развивающееся, следовательно, не оконченное, а переходное. Но достигать такой великой цели, по моему рассуждению, совершенно бессмысленно, если при достижении цели все угасает и исчезает, то есть если не будет жизни у человека и по достижении цели. Следственно, есть будущая, райская жизнь».

Такова диалектика Достоевского. Он как бы в обратном порядке воспроизводит мысль апостола Павла: если Христос не воскрес, то нет воскресения мертвых. А если нет воскресения мертвых, то обесмысливается жизнь. Если же земная жизнь есть подготовка к вечности, тогда задача человека — освободиться от своего «я», уподобиться Христу в самоотверженной любви к ближнему.

### **Мышкин и женщины**

В романе «Идиот» загадку князя Мышкина стараются разгадать все окружающие его люди. Каждый из них хочет понять, что это за человек, откуда он мог взяться, какие у него жизненные цели и почему они так сильно отличаются от общепринятых. Он же разгадывает личности окружающих людей. И прежде всего Настасьи Филипповны.

Среди женских образов, созданных Достоевским, этот — один из самых противоречивых. Сначала Мышкин влюбляется в ее портрет, на котором «была изображена действительно необыкновенной красоты женщина... в черном шелковом платье, чрезвычайно простого и изящного фасона; волосы, по-видимому темно-русые, были убраны просто, по-домашнему; глаза темные, глубокие, лоб задумчивый; выражение лица страстное и как бы высокомерное. Она была несколько худа лицом, может быть и бледна». Потом князь встречается с ней, и между ними завязываются странные отношения, которые трудно назвать «романом», поскольку любовь к ней князя Мышкина —

это, по выражению Мережковского, «чистейшим огнем пламенеющая христианская жалость, бесконечное самопожертвование; он любит ее только в духе, только для нее, а не для себя, против себя, потому что чувствует, что погибнет с нею, может быть, и ее не спасет».

Настасья Филипповна живет в постоянной внутренней раздвоенности: она то считает себя падшей женщиной, то оправдывает себя. В конце концов, она сама перестает понимать, где ее истинное «я»: «вся ее внутренняя жизнь сводится к исканию себя и своего нерасколотого голоса за этими двумя вселившимися в нее голосами» (М. Бахтин). Только князь Мышкин, натура цельная и нераздвоенная, презревает ее сокровенную глубину.

Достоевский помещает своего героя между двумя женщинами — Настасьей Филипповной и Аглаей. А Настасью Филипповну помещает между двумя мужчинами — Рогожиным и Мышкиным. «И вакханка, “бесноватая” Настасья Филипповна, любит Идиота так же, как девственница Аглая; они соперничают из-за него. Комический Дон Кихот превращается в трагического Дон Жуана, так что могучий самец, сладострастный паук Рогожин, перед этим, как будто бесполом серафимом чувствует себя жалким соперником в глазах женщин: они окружают “идиота”, больного, юродивого; они следуют за ним, служат ему, готовы умереть за него.» (Д. Мережковский).

### Деньги

В своем романе Достоевский развивает еще одну глубоко христианскую тему: невозможность совместить счастье с погоней за деньгами. Достоевский познал эту невозможность на собственном опыте, когда заразился страстью к рулетке. «Когда идти на рулетку было не с чем и неоткуда было достать денег, Федор Михайлович начинал рыдать, становился передо мной на колени, умолял меня простить его за то, что он мучает меня своими поступками. — вспоминает Анна Григорьевна. — Вначале мне представлялось странным, как это Федор Михайлович, с таким мужеством перенесший в своей жизни столько страданий (заключение в крепости, эшафот, ссылку, смерть любимого брата, жены), не имеет силы воли, чтобы сдержаться и не рискнуть последним талером. Но скоро я поняла, что это не простая слабость, а всепоглощающая страсть, стихия, против которой даже твердый характер бороться не может».

Деньги играют важную роль в романах Достоевского. В «Преступлении и наказании» он описал бедного студента, решившегося на убийство старухи, дабы осчастливить других деньгами. Герой романа «Игрок» одержим страстью к игре на деньги. А в «Подростке» Достоевский опишет молодого человека, одержимого идеей «стать Ротшильдом».

В «Идиоте» не играют в рулетку, не убивают из-за денег, не пытаются стать Ротшильдами. Но ключевые персонажи находятся во власти денег. Настасья Филипповна получает от своего опекуна и растлителя Гоцкого 75 тысяч рублей, благодаря чему становится завидной партией: к ней сватается Гаврила Ардалионович Иволгин. Но Рогожин предлагает ей сначала 18, потом 40, а затем и 100 тысяч за то, чтобы она вышла за него, а от Иволгина предлагает откупиться тремя тысячами. С пачкой денег, завернутых в «Биржевые ведомости» и туго перевязанных бечевкой, Рогожин заявляется к Настасье Филипповне: в пачке сто тысяч. Тут выясняется, что князь Мышкин по завещанию недавно умершей тетки должен получить полтора миллиона рублей, а то и больше. Внимание всех собравшихся временно переключается на него: не его ли выберет теперь Настасья Филипповна. «Опоздал, Рогожин! Убирай свою пачку, я за князя замуж выхожу и сама богаче тебя!» — кричит Настасья Филипповна. Потом бросает пачку в огонь и предлагает Иволгину достать ее оттуда. Он падает в обморок. Тогда она каминными щипцами достает полуобгоревшую пачку из огня и бросает возле его тела со словами: «Вся пачка его!» А сама уезжает с Рогожиным.

К героям этой сцены писатель как бы приклеивает этикетки с конкретными суммами. По этим этикеткам они оценивают друг друга, как товар на рынке. И только два человека оказываются вне

власти денег: Настасья Филипповна и князь Мышкин. Она — потому что знает, что ее ждет гибель с Рогожиным, и она бросается в бездну очертя голову. Он — потому что для него деньги ничего не значат. Он смотрит не на этикетку, приклеенную к человеку, а на самого человека. И любит человека той жертвенной христианской любовью, которая лишена плотской страсти и несовместима с корыстным расчетом.

### Трагедия «идиота»

Трагедия «идиота» заключается в том, что он хочет жить по своим правилам в мире, где живут по иным правилам. Но в этом же заключалась земная трагедия Иисуса Христа: Он пришел со Своими нравственными нормами в мир, где давно уже жили по иным законам. По человеческим меркам Его проповедь на земле кончилась полной неудачей: Он был осужден и умер страшной, мучительной смертью. Воскреснув из мертвых и вознесшись на Небеса, Он ушел туда, откуда пришел.

Князь Мышкин приехал из далекой Швейцарии, где вел жизнь идиота в клинике доктора Шнейдера, и вернулся туда же. Потеряв рассудок после убийства Рогожиным Настасьи Филипповны, он возвращается в то царство, откуда пришел. Шнейдер при упоминании о своем пациенте «все более и более хмурится и качает головой; он намекает на совершенное повреждение умственных органов; он не говорит еще утвердительно о неизлечимости, но позволяет себе самые грустные намеки». Читатель понимает, что князь покинул этот мир безвозвратно.

Несколько раз в романе повторяется мысль о том, что «мир спасет красота». Достоевский показывает разные виды красоты. Есть «ослепляющая» красота Настасьи Филипповны: люди видят только внешнюю эффектную оболочку, а князь Мышкин при первом же взгляде на ее портрет прозревает красоту поруганную и оплеванную. «В этом лице... страдания много», — говорит он. И есть внутренняя красота самого князя Мышкина, прячущаяся за его внешней слабостью, беззащитностью, за его идиотизмом и безумием. В романе он — жертва двух красивых женщин, которые не могут его поделить, растаскивают, разрывают на части. И жертва собственной неспособности стать частью того безобразного мира, в котором никто не может явить подлинную духовную красоту.

«Идиот» — это роман-притча с глубоким религиозным подтекстом. Завершая его, Достоевский уже думает о новом «огромном» романе под названием «Атеизм». Главный герой — «русский человек нашего общества», который «теряет веру в Бога. Потеря веры в Бога действует на него колоссально. Он шныряет по новым поколениям, по атеистам, по славянам и европейцам, по русским изуверам и пустынножителям, по священникам; сильно, между прочим, попадает на крючок иезуиту, пропагатору, поляку; спускается от него в глубину хлыстовщины — и под конец обретает и Христа и русскую землю, русского Христа и русского Бога». Чтобы создать такой роман, пишет Достоевский, «мне нужно прочесть чуть не целую библиотеку атеистов, католиков и православных». Времени на чтение «целой библиотеки» у Достоевского не было, а потому и роман не был написан.

Следующий грандиозный замысел — роман «Житие великого грешника». «Этот роман, — пишет Достоевский, — все упование мое и вся надежда моей жизни. Чтоб писать этот роман, мне надо бы быть в России. Например, вторая половина моей первой повести происходит в монастыре. Мне надобно не только видеть (видел много), но и пожить в монастыре». Об основной идее романа Достоевский говорит так: «Главный вопрос. тот самый, которым я мучился сознательно и бессознательно всю мою жизнь, — существование Божие. Герой в продолжение жизни — то атеист, то верующий, то фанатик и сектатор, то опять атеист». Но и этот роман не будет написан.

Грандиозные замыслы Достоевского, вырастающие из романа «Идиот», будут воплощены по частям в следующих романах «великого пятикнижия» — «Бесы», «Подросток» и «Братья Карамазовы». Свое Евангелие в пяти главах он пишет для того, чтобы читатели вместе с ним «обрели русского Христа и русского Бога».

### Глава 3. Демоны русской революции

У Достоевского была огромная, страстная и беззаветная любовь к Пушкину. Познакомившись с его творчеством в детстве, он пронес восхищение Пушкиным через всю жизнь. «Пушкин, по обширности и глубине своего русского гения, до сих пор есть как солнце над всем нашим русским интеллигентным мировоззрением». — писал он.

Свои чувства к Пушкину он с особой силой выразил в речи, произнесенной в июне 1880 года в Москве по случаю открытия памятника великому поэту. Этот памятник первоначально стоял не там, где теперь, а на противоположной стороне Тверской улицы, в начале Тверского бульвара. А там, где сейчас стоит Пушкин, стояла колокольня Страстного монастыря. Монастырь был разрушен до основания в 1937 году, и в 1950-м Пушкин переехал на место снесенной колокольни.

Открытие памятника в 1880-м сопровождалось торжественными собраниями, на которых выдающиеся деятели культуры и науки воздавали должное национальному гению. 7-8 июня в Дворянском собрании выступали литераторы, в том числе Тургенев, Достоевский и Иван Аксаков.

#### Пушкин — русский пророк

Достоевский начал свою речь с цитаты из Гоголя: «Пушкин есть явление чрезвычайное и, может быть, единственное явление русского духа». И добавил от себя: «И пророческое. Да, в появлении его заключается для всех нас, русских, нечто бесспорно пророческое. Пушкин как раз приходит в самом начале правильного самосознания нашего, едва лишь начавшегося и зародившегося в обществе нашем после целого столетия с петровской реформы, и появление его сильно способствует освещению темной дороги нашей новым направляющим светом. В этом-то смысле Пушкин есть пророчество и указание».

На примере творчества великого русского поэта Достоевский показывает всеевропейский и общечеловеческий размах русской культуры. Достоевский считает, что «назначение русского человека есть бесспорно всеевропейское и всемирное. Стать настоящим русским... значит... стать братом всех людей, всечеловеком...» Миссия России и русской культуры заключается в том, чтобы «указать исход европейской тоске в своей русской душе, всечеловечной и воссоединяющей, вместить в нее с братской любовью всех наших братьев, а в конце концов, может быть, и изречь окончательное слово великой, общей гармонии, братского окончательного согласия всех племен по Христову евангельскому закону!»

Мысли Достоевского созвучны тому, что за 33 года до этого писал Гоголь в «Выбранных местах из переписки с друзьями»: «Не умрет из нашей старины ни зерно того, что есть в ней истинно русского и что освящено Самим Христом. Что есть много в коренной природе нашей, нами позабытой, близкого закону Христа, — доказательство тому уже то, что без меча пришел к нам Христос, и приготовленная земля сердец наших призывала сама собой Его слово, что есть уже начало братства Христова в самой нашей славянской природе, и побратанье людей было у нас родней даже и кровного братства, что еще нет у нас непримиримой ненависти сословья противу сословья и тех озлобленных партий, какие водятся в Европе и которые поставляют препятствие непреоборимое к соединению людей и братской любви между ними.»

В той же книге Гоголь горячо защищал Пушкина от обвинений в деизме: «Некоторые стали печатно объявлять, что Пушкин был деист, а не христианин; точно как будто бы они побывали в душе Пушкина, точно как будто бы Пушкин непременно обязан был в стихах своих говорить о высших догмах христианских, за которые и сам святитель Церкви принимается не иначе, как с великим страхом, приготовя себя к тому глубочайшей святостью своей жизни. По-ихнему, следовало бы все высшее в христианстве облекать в рифмы и сделать из того какие-то стихотворные игрушки. Публично выставлять нехристианином человека и даже противником Христа, основываясь на некоторых

несовершенствах его души и на том, что он увлекался светом так же, как и всяк из нас им увлекался, — разве это христианское дело? Да и кто же из нас тогда христианин?..» По словам Гоголя, Пушкин «в лучшие и светлейшие минуты своего поэтического ясновидения исповедал выше всего высоту христианскую».

Когда-то книга Гоголя оскорбила Белинского и стала причиной гневного письма, которое Достоевский зачитал на собрании петрашевцев. За это он поплатился годами каторги и солдатчины. Но теперь Достоевский фактически встал на сторону Гоголя в споре о христианской идентичности России и ее особом призвании по отношению к европейским народам.

Произнося слова о всемирном братстве на основе Христова евангельского закона, Достоевский отдает себе отчет в том, что кому-то они «могут показаться восторженными, преувеличенными и фантастическими». Но он глубоко уверен в особой миссии России, которая не экономической мощью должна превзойти народы Европы, не мечом или наукой их покорить, но примирить силой Евангелия. «Пусть наша земля нищая, но эту нищую землю “в рабском виде исходил благословляя” Христос», — заключает Достоевский, цитируя Тютчева.

Вечером того же дня, когда была произнесена пушкинская речь, Достоевский на литературном празднике читает стихотворение Пушкина «Пророк»:

Духовной жаждою томим,  
В пустыне мрачной я влачился,  
— И шестикрылый серафим  
На перепутьи мне явился.  
Перстами легкими как сон  
Моих зениц коснулся он.  
Отверзлись вещие зеницы,  
Как у испуганной орлицы.  
Моих ушей коснулся он,  
— И их наполнил шум и звон:  
И внял я неба содроганье,  
И горний ангелов полет,  
И гад морских подводный ход,  
И дольней лозы прозябанье.  
И он к устам моим приник,  
И вырвал грешный мой язык,  
И празднословный, и лукавый,  
И жало мудрыя змеи  
В уста замершие мои  
Вложил десницею кровавой.  
И он мне грудь рассек мечом,  
И сердце трепетное вынул  
И угля, пылающий огнем,  
Во грудь отверстую водвинул.  
Как труп в пустыне я лежал,  
И Бога глас ко мне воззвал:  
«Восстань, пророк, и виждь, и внемли,  
Исполнись волею моей,  
И, обходя моря и земли,  
Глаголом жги сердца людей».

В этом стихотворении Пушкин говорит о призвании национального поэта, используя образ,

навеянный Книгой пророка Исаии: «В год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном, и края риз Его наполняли весь храм. Вокруг Него стояли Серафимы... Тогда прилетел ко мне один из Серафимов, и в руке у него горящий уголь, который он взял клещами с жертвенника, и коснулся уст моих и сказал: вот, это коснулось уст твоих, и беззаконие твое удалено от тебя, и грех твой очищен» (Ис. 6:1-2, 6-7).

Сохранились воспоминания современника, слышавшего, как Достоевский читал пушкинского «Пророка» на одном из литературных вечеров в Петербурге: «Слушая “Пророка”, казалось, что это к Достоевскому на перепутье русской жизни явился серафим. Ему “он грудь рассек мечом”, но, увидев трепет бедного, страдающего сердца, серафим отказался выполнить последний завет пославшего его Бога. Он не вырвал человеческое сердце и выронил из рук пророческий “уголь, пылающий огнем”. И пошел по миру не пророк, глаголом жгущий сердца людей, а человек с глазами испуганной орлицы, человек, надрывающийся под тяжестью неизбежного людского горя, человек с рассеченною грудью и обнаженным сердцем».

Однако сам Достоевский ощущал себя именно пророком. Острое чувство пророческого призвания роднит его с Пушкиным. Как и многое другое — прежде всего, безграничная любовь к России, за судьбу которой глубоко переживал. В споре между западниками и славянофилами он примыкал скорее к последним, пытаясь, впрочем, примирить тех и других: в этом был основной пафос его пушкинской речи. Но главная ее мысль: без Христа у России нет будущего, только на началах евангельской нравственности можно построить счастье русского народа.

### **Революционное движение в России**

Пушкин был на одно поколение старше Достоевского. Его молодость была ознаменована восстанием декабристов, многих из которых он лично знал. Молодость Достоевского ознаменовалась активностью кружка петрашевцев. Пушкин не участвовал в деятельности декабристов, но сочувствовал им. За свое вольнодумство он поплатился ссылкой на юг — в Кишинев и Одессу, где мог спокойно заниматься творчеством. Достоевский за участие в кружке петрашевцев был подвергнут показательной «казни» на Семеновском плацу, затем сослан на каторгу, за которой последовали годы солдатской службы. В это время он не только не мог заниматься творчеством, но и с трудом выжил, на всю оставшуюся жизнь сделавшись тяжелобольным человеком. Проведя четыре года в кандалах, он и выйдя на свободу ходил мелкими шагами.

Революционное движение в России началось под влиянием французской революции. Среди революционеров первой четверти XIX века были как более, так и менее радикальные. Некоторые ратовали за установление конституционной монархии, другие — за свержение царя. Движение было разрозненным, и подавить его царской властью особого труда не составило.

К началу 1870-х, когда Достоевский взялся за роман «Бесы», революционное движение значительно окрепло и радикализировалось. Достоевский, знавший революционное подполье изнутри, был глубоко обеспокоен будущим России. Он понимал полную противоположность революционных идеалов той Христовой евангельской нравственности, в которой видел счастье русского народа. И он решил подробно описать это подполье. В «Записках из Мертвого Дома» он открыл читающей России мир каторжников. В «Бесах» он решил открыть им другой мир: революционного подполья.

Революцию и падение монархии предрекали многие великие умы России. В 1830 году 16-летний Лермонтов предсказал события, которые девяносто лет спустя, в годы революционного террора, сбудутся с ужасающей точностью:

Настанет год, России черный год,

Когда царей корона упадет;

Забудет чернь к ним прежнюю любовь,

И пища многих будет смерть и кровь;  
Когда детей, когда невинных жен  
Низвергнутый не защитит закон;  
Когда чума от смрадных, мертвых тел  
Начнет бродить среди печальных сел,  
Чтобы платком из хижин вызывать,  
И станет глад сей бедный край терзать;  
И зарево окрасит волны рек;  
В тот день явится мощный человек,  
И ты его узнаешь — и поймешь,  
Зачем в руке его булатный нож;  
И горе для тебя! — твой плач, твой стон  
Ему тогда покажется смешон;  
И будет все ужасно, мрачно в нем,  
Как плащ его с возвышенным челом.

Миссия пророка заключается не в том, чтобы предсказывать грядущие события. Неверно представление о пророке как о предсказателе. Пророк призван предупреждать людей о грядущих бедствиях, призывать их к покаянию и изменению образа жизни. Голос пророка — это голос Бога. И если люди прислушаются к этому голосу, бедствия не обрушатся на них. И Пушкин, и Лермонтов были наделены пророческим даром. Но подлинным пророком России стал Достоевский. Его роман «Бесы» был грозным предупреждением всей России о том, что ее ожидает, если она отречется от Христа и встанет на революционный путь.

Фабула романа основана на реальном событии — убийстве студента Иванова группой революционеров во главе с Сергеем Нечаевым. Группа называлась «Народная расправа». Иванов, один из членов группы, выступил против намеченной акции: расклейки листовок в Петровской сельскохозяйственной академии по случаю студенческих волнений в Московском университете. Нечаев, почувствовав в этом угрозу своему единовластию в кружке, решил, что Иванова надо убить, а членов кружка «скрепить кровью». 21 ноября 1869 года в парке Петровской сельскохозяйственной академии Нечаев застрелил Иванова из револьвера, а труп утопили в пруду. Однако следственные органы быстро напали на след преступников, четверо из них были арестованы и приговорены к каторжным работам. Нечаеву удалось бежать в Швейцарию.

Достоевский узнал о студенте Иванове еще при его жизни. В Петровской академии учился Иван Григорьевич Сниткин, родной брат жены Достоевского. Приехав к Достоевским в Дрезден, он с упоением рассказывал о своем новом друге — студенте Иванове, который был членом революционного кружка, но вышел из него. И вот, вскоре после этого рассказа из «Московских ведомостей» Достоевский узнает об убийстве Иванова Нечаевым.

Для того чтобы понять, кто такой был Нечаев и какую теорию он проповедовал, следует заглянуть в написанный им «Катехизис революционера»: «Революционер — человек обреченный. У него нет ни своих интересов, ни дел, ни чувств, ни привязанностей, ни собственности, ни даже имени. Все в нем поглощено единственным исключительным интересом, единою мыслью, единою страстью — революцией... Революционеры должны проникнуть всюду, во все высшие и средние сословия, в купеческую лавку, в церковь, в барский дом, в мир бюрократский, военный, в литературу, в Третье отделение и даже в Зимний дворец. Наше дело — страстное, полное, повсеместное и беспощадное разрушение. Поэтому, сближаясь с народом, мы прежде всего должны соединиться с теми элементами народной жизни, которые со времени основания московской государственной силы не переставали протестовать не на словах, а на деле против всего, что прямо или косвенно связано с государством: против дворянства, против чиновничества, против попов, и против кулака мироеда. Соединимся с

лихим разбойничьим миром, этим истинным и единственным революционером в России».

Это, конечно, далеко от романтических теорий декабристов и от социалистических утопий петрашевцев. И когда нечаевская идеология нашла свое воплощение в убийстве студента, это событие ужаснуло Достоевского. Он понял, в какую бездну могут сбросить Россию революционеры подобного рода. С «лихим разбойничьим миром» он был знаком не понаслышке: на каторге он видел многих представителей этого мира. Он представлял себе, что произойдет с Россией, если она окажется в их руках. И решил сделать грозное предупреждение.

### **Бесы русской революции**

Первым эпитафием к роману он выбрал слова из стихотворения Пушкина «Бесы»:

Хоть убей, следа не видно,  
Сбились мы, что делать нам?  
В поле бес нас водит, видно,  
Да кружит по сторонам.  
.....  
Сколько их, куда их гонят,  
Что так жалобно поют?  
Домового ли хоронят,  
Ведьму ль замуж выдают?

Второй эпитафия взят из Евангелия от Луки: «Тут на горе паслось большое стадо свиней, и они просили Его, чтобы позволил им войти в них. Он позволил им. Бесы, вышедши из человека, вошли в свиней; и бросилось стадо с крутизны в озеро и потонуло. Пастухи, увидя случившееся, побежали и рассказали в городе и по деревням. И вышли жители смотреть случившееся и, пришедши к Иисусу, нашли человека, из которого вышли бесы, сидящего у ног Иисусовых, одетого и в здравом уме, и ужаснулись. Видевшие же рассказали им, как исцелился беснованный» (Лк. 8:32-36).

Смысл этого эпитафия Достоевский объясняет в письме Майкову. Сначала он упоминает свое пребывание на каторге, когда он желал успеха русскому оружию, «хоть и оставался тогда еще с закваской шелудивого русского либерализма, проповедованного говнюками вроде навозной букашки Белинского». А потом говорит, что «болезнь, обуявшая цивилизованных русских, была гораздо сильнее, чем мы воображали... Бесы вышли из русского человека и вошли в стадо свиней, то есть в Нечаевых, и прочих. Те потонули или потонут наверное, а исцелившийся человек, из которого вышли бесы, сидит у ног Иисусовых. Так и должно быть. И заметьте себе, дорогой друг: кто теряет свой народ и народность, тот теряет и веру отеческую и Бога. Ну, если хотите знать, — это и есть тема моего романа».

Упоминание Белинского характерно: когда-то молодой Достоевский преклонялся перед ним, благоговел, ловил каждое его слово. Теперь он обзывает его оскорбительным словом и видит в нем предтечу тех «бесов», которым посвящает свой роман. В письме к наследнику престола, будущему императору Александру III, он заостряет эту мысль: «Наши Белинские и Грановские не поверили бы, если б им сказали, что они прямые отцы Нечаева».

Действие происходит в уездном городе, прототипом которого, как считают исследователи творчества Достоевского, была Тверь. Ее топография отражена в романе. В частности, город разделен на две части рекой, через которую проходит плашкоутный мост; на берегу реки расположен большой монастырь; в город ходят регулярные поезда из Петербурга. Как мы помним, в Твери Достоевский прожил четыре месяца после возвращения из семипалатинской ссылки, и город ему тогда очень не понравился. Спустя десять с небольшим лет он решил «отомстить» Твери и поселить здесь своих «бесов».

Тема «отцов и детей», намеченная Тургеневым в одноименном романе, продолжена Достоевским в «Бесах». Здесь тоже представлены два поколения. Но если у Тургенева одно противопоставляется другому, то Достоевский делает акцент на преемственности между одним и другим.

Поколение отцов представлено наиболее полно фигурой Степана Трофимовича Верховенского — типичного либерала и западника, учителя молодежи и прожигателя жизни. Степан Трофимович — это собирательный образ. Он начитан, эрудирован, говорит на «смеси французского с нижегородским». Он даже в некотором смысле религиозен: «В Бога учитель наш веровал. “Не понимаю, почему меня все здесь выставляют безбожником? — говаривал он иногда, — я в Бога верую, mais distinguons<sup>2</sup>, я верую, как в существо, себя лишь во мне сознающее. Не могу же я веровать, как моя Настасья (служанка)... Что же касается до христианства, то, при всем моем искреннем к нему уважении, я — не христианин. Я скорее древний язычник, как великий Гете или как древний грек”». Степан Трофимович преклоняется перед Белинским, восхищается его письмом к Гоголю.

К поколению отцов относится и «великий писатель» Кармазинов. «Святая Русь менее всего на свете может дать отпору чему-нибудь, — рассуждает писатель. — Простой народ еще держится кое-как русским Богом; но русский Бог, по последним сведениям, весьма неблагонадежен и даже против крестьянской реформы едва устоял, по крайней мере сильно покачнулся. А тут железные дороги, а тут вы... уж в русского-то Бога я совсем не верую». «А в европейского?» — спрашивает его Петр Верховенский. «Я ни в какого не верую». И излагает свое видение России: «Я понимаю слишком хорошо, почему русские с состоянием все хлынули за границу, и с каждым годом больше и больше. Тут просто инстинкт. Если кораблю потонуть, то крысы первые из него выселяются. Святая Русь — страна деревянная, нищая и... опасная, страна тщеславных нищих в высших слоях своих, а в огромном большинстве живет в избушках на курьих ножках. Она обрадуется всякому выходу, стоит только растолковать. Одно правительство еще хочет сопротивляться, но машет дубиной в темноте и бьет по своим. Тут все обречено и приговорено. Россия, как она есть, не имеет будущности. Я сделался немцем и вменяю это себе в честь».

Под именем Кармазинова Достоевский изобразил весьма несимпатичного ему Тургенева. Об этом свидетельствует, в частности, запись Анны Григорьевны Достоевской, которая вспоминает, как 28 июня 1867 года Достоевский встречался с Тургеневым в Бадене. По возвращении за чаем Федор Михайлович пересказал жене содержание их беседы: «Тургенев объявил, что он, Тургенев, реалист, но Федя говорил, что это ему только так кажется. Когда Федя сказал, что он в немцах только и заметил, что тупость, да, кроме того, очень часто обман, Тургенев ужасно как этим обиделся И объявил, что этим Федя его кровно оскорбил, потому что он сделался немцем, что он вовсе не русский, а немец».

## Ставрогин

Поколение детей представлено широким спектром характеров. Но именно к ним относится название романа. Именно они — те бесы, которые выросли на, казалось бы, вполне безобидной почве русского либерализма и западничества середины XIX века. И главный из них — Николай Ставрогин.

Его образ продолжает традицию, начатую в русской литературе Пушкиным, подхваченную Лермонтовым и Тургеневым, каждый из которых изображал героя без жизненной цели и без дела. Пушкинского Онегина, лермонтовского Печорина и тургеневского Базарова объединяет то, что они, будучи одарены талантами и выделяясь из общей массы, не угадывают свое предназначение. Все трое живут без Бога и вне Церкви, каждый в той или иной степени является нигилистом, то есть отрицателем ценностей и идеалов, основанных на религиозном мировоззрении.

---

<sup>2</sup> Но надо различать (фр.)

Ставрогин — тоже человек без цели и без дела, живущий без Бога и без нравственных принципов. Само понятие нравственности он отрицает. Это человек с сожженной совестью, внутри которого замерло и умерло живое нравственное начало. С Базаровым его роднит нигилизм, но он идет значительно дальше Базарова в отрицании всего святого и священного. Его самоубийство в конце романа — лишь следствие той духовной смерти, которая наступила гораздо ранее, еще до начала романа. В романе он появляется уже трупом, на духовном уровне он уже умер и разлагается, но тело еще продолжает жить.

Ставрогин — личность демоническая, дьявольская. Образ Ставрогина — продолжение образа Демона, который мы встречаем в поэзии Пушкина и Лермонтова. Пушкинский Демон — это «злбный гений», который время от времени посещает поэта. Внешне он красив, внутри наполнен ядом:

Печальны были наши встречи:

Его улыбка, чудный взгляд,

Его язвительные речи

Вливали в душу хладный яд.

Неистоимой клеветой

Он провиденье искушал:

Он звал прекрасное мечтой;

Он вдохновенье презирал;

Не верил он любви, свободе;

На жизнь насмешливо глядел —

И ничего во всей природе

Благословить он не хотел.

Ставрогин на все смотрит не просто насмешливо, а с глубоким презрением. Он презирает всех окружающих людей и весь мир. В его жизни нет ни вдохновения, ни любви, ни свободы. Внешне он красив, внутренне безобразен: «Волосы его были что-то уж очень черны, светлые глаза его что-то уж очень спокойны и ясны, цвет лица что-то уж очень нежен и бел, румянец что-то уж слишком ярк и чист, зубы, как жемчужины, губы, как коралловые, — казалось бы, писанный красавец, а в то же время как будто и отвратителен. Говорили, что лицо его напоминает маску».

Ставрогин красив и отвратителен одновременно. За всеми его словами и действиями стоит гордость — та дьявольская твердыня, которая непроходимой стеной встает не только между человеком и Богом, но и между человеком и другими людьми. Безмерная гордость пронизывает собой все бытие Ставрогина, она — тот яд, который превратил его в живой труп.

Ставрогин — тот самый герой ненаписанного романа «Житие великого грешника», который, по замыслу Достоевского, «в продолжение жизни — то атеист, то верующий, то фанатик и сектатор, то опять атеист». О прежних воззрениях Ставрогина мы узнаем косвенно, из его диалога с Шатовым:

— *Знаете ли вы... кто теперь на всей земле единственный народ-«богоносец», грядущий обновить и спасти мир именем нового бога и кому единому даны ключи жизни и нового слова. Знаете ли вы, кто этот народ и как ему имя?*

— *По вашему приему я необходимо должен заключить, и, кажется, как можно скорее, что это народ русский.*

— *А самому вам незнакомы эти слова?*

— *Очень знакомы; я слишком предвижу, к чему вы клоните.*

*Вся ваша фраза и даже выражение народ-«богоносец» есть только заключение нашего с вами разговора, происходившего с лишком два года назад, за границей, незадолго пред вашим отъездом в Америку.*

— Это ваша фраза целиком, а не моя. Ваша собственная, а не одно только заключение нашего разговора. «Нашего» разговора совсем и не было: был учитель, вещавший огромные слова, и был ученик, воскресший из мертвых. Я тот ученик, а вы учитель.

Но теперь Ставрогин законченный атеист. Более того, он утверждает, что был таковым и тогда, когда рассуждал о народе-богоносце:

— Вы атеист? Теперь атеист?

— Да.

— А тогда?

— Точно так же, как и тогда.

Шатов прервал, махнув рукой:

— Вы помните выражение ваше: «Атеист не может быть русским, атеист тотчас же перестает быть русским», помните это?.. А между тем это одно из самых точнейших указаний на одну из главнейших особенностей русского духа, вами угаданную. Не могли вы этого забыть? Я напомню вам больше, — вы сказали тогда же: «Неправославный не может быть русским»...

— Если б я веровал, то, без сомнения, повторил бы это и теперь; я не лгал, говоря как верующий, — очень серьезно произнес Николай Всеволодович. — Но уверяю вас, что на меня производит слишком неприятное впечатление это повторение прошлых мыслей моих. Не можете ли вы перестать?

— Если бы веровали? — вскричал Шатов, не обратив ни малейшего внимания на просьбу. — Но не вы ли говорили мне, что если бы математически доказали вам, что истина вне Христа, то вы бы согласились лучше остаться со Христом, нежели с истиной? Говорили вы это? Говорили?

— Но позвольте же и мне наконец спросить, — возвысил голос Ставрогин, — к чему ведет весь этот нетерпеливый и злобный экзамен?

Достоевский вкладывает в уста Ставрогина, но не нынешнего, а прежнего, свои собственные мысли, изложенные в письме Фонвизиной. Именно в этом письме, посланном по окончании каторги, он изложил свой «символ веры» и заявил о неприятии какой бы то ни было истины вне Христа. Парадоксальным образом Ставрогин оказывается двойником самого Достоевского.

Такова удивительная диалектика Достоевского, особенность его художественного метода. Он вкладывает в уста героев свои собственные мысли, распределяя их между самыми разными персонажами. Подобно диалогам Платона, в которых собеседники спорят между собой, но мы не всегда знаем, с какой точкой зрения солидаризируется сам философ, в диалогах, которыми наполнены романы Достоевского, звучит его голос, но не всегда понятно, с кем из героев и в каких именно воззрениях он согласен. Читатель сам должен делать выбор между философскими идеями и становиться на сторону то одного, то другого собеседника.

### Прототипы Ставрогина

Одним из прототипов Ставрогина был Николай Спешнев, неформальный лидер кружка петрашевцев, с которым Достоевский общался в молодости. Он был красив, в кружке держался особняком, про него ходили разные легенды и слухи, его образ был овеян романтическим ореолом. Когда Достоевского вывели на Семеновский плац, где должна была состояться показательная казнь петрашевцев, Достоевский сказал ему по-французски: «Мы будем со Христом». Спешнев ответил с усмешкой: «Горстью праха».

Другим прототипом Ставрогина был, как считают некоторые исследователи, русский анархист Михаил Бакунин. Лично знакомый с Марксом и Энгельсом, он перевел на русский язык «Манифест

Коммунистической партии». В 1867 году Достоевский посетил в Женеве конгресс «Лиги мира и свободы», на котором за день до этого выступал Бакунин. Свои впечатления от конгресса Достоевский описал в письме к племяннице: «...Начали с того, что для достижения мира на земле нужно истребить христианскую веру. Большие государства уничтожить и поделаться маленькими; все капиталы прочь, чтоб все было общее по приказу, и проч. Все это без малейшего доказательства, все это заучено еще 20 лет назад наизусть, да так и осталось. И главное, огонь и меч — и после того как все истребится, то тогда, по их мнению, и будет мир...»

Когда в 1869 году в России начались студенческие волнения, Бакунин из Швейцарии руководил революционной агитацией, которую вел среди студентов Нечаев. Если Бакунин был теоретиком, то Нечаев — практиком. То же соотношение мы наблюдаем в «Бесах» между Ставрогиным и Петром Верховенским. Ставрогин — учитель, Верховенский — ученик, но доводящий до крайности идеи своего учителя, переводящий в практическую плоскость то, чему когда-то научился от него в теории.

Наконец, еще одним прототипом Ставрогина был Герцен. Как отмечает В. К. Кантор, некоторые детали биографии Герцена воспроизведены в биографии Ставрогина: первый был гражданином швейцарского кантона Фрайбург, второй — гражданином кантона Ури; в предсмертном письме Ставрогин упоминает о Герцене; отношение Петра Верховенского к Ставрогину напоминает отношение террориста Нечаева к Герцену. Ставрогин явился к Тихону с листками, отпечатанными «секретно в какой-нибудь заграничной русской типографии, и листочки с первого взгляда очень походили на прокламацию». Это «очевидный намек на лондонскую типографию, где печатались герценовские мемуары и прокламации». Даже амурные похождения Герцена нашли отражение в извращенной сексуальности Ставрогина.

Тень Герцена присутствует в романе «Бесы» на всем его протяжении: от первой главы до эпилога. В общей сложности имя Герцена упоминается в романе 13 раз. Достоевский познакомился с Герценом в Петербурге в 1846 году, потом несколько раз навещал его за границей. Одно время он восхищался творчеством Герцена, но идейные расхождения с годами становились все более очевидными. В «Дневнике писателя» за 1873 год Достоевский пишет: «Герцен был... продукт нашего барства, русский дворянин и гражданин мира прежде всего тип, явившийся только в России и который нигде, кроме России, не мог явиться. Герцен не эмигрировал... нет, он так уж и родился эмигрантом. Они все, ему подобные, так прямо и рождались у нас эмигрантами, хотя большинство их не выезжало из России. Герцену как будто сама история предназначила выразить собою в самом ярком типе этот разрыв с народом огромного большинства образованного нашего сословия. Отделясь от народа, они естественно потеряли и Бога. Беспокойные из них стали атеистами; вялые и спокойные — индифферентными. К русскому народу они питали лишь одно презрение, воображая и веруя в то же время, что любят его и желают ему всего лучшего. Разумеется, Герцен должен был стать социалистом, и именно как русский барич, то есть безо всякой нужды и цели, а из одного только “логического течения идей” и от сердечной пустоты на родине. Отрицал собственность, а в ожидании успел устроить дела свои и с удовольствием ощущал за границей свою обеспеченность».

Этот нелюбимый отзыв многое говорит о причинах, по которым русские революционеры (от Герцена до Ленина включительно) предпочитали отсиживаться за рубежом. Не только из страха перед репрессиями. Им там было комфортнее и спокойнее, а кроме того, оттуда легче было рулить революционными процессами. Но Достоевского возмущает не это, а то, что революционеры не знают русский народ, а потому и предлагают ему рецепты устройства общества на основе атеистического мировоззрения. Достоевский был глубоко убежден в том, что православная вера — неотъемлемая часть русской национальной идентичности. И любое общественное устройство, в основе которой не лежит вера во Христа и Православие, он считал неприемлемым для России.

## Петр Верховенский

Образ Петра Верховенского в наибольшей степени отражает то омерзение, которое испытывал Достоевский к революционному подполью. Если образ Ставрогина овеян романтическим ореолом, то Петр Верховенский лишен всякой красоты, хотя бы только внешней. Это не демон, это мелкий бес. В нем все отталкивающее, начиная с внешности и кончая манерой говорить: «Никто не скажет, что он дурен собой, но лицо его никому не нравится. Лоб его высок и узок, но черты лица мелки; глаз вострый, носик маленький и востренький, губы длинные и тонкие. Он ходит и движется очень торопливо, но никуда не торопится. В нем большое самодовольство, но сам он его в себе не примечает нисколько. Говорит он скоро, торопливо, но в то же время самоуверенно, и не лезет за словом в карман. Выговор у него удивительно ясен; слова его сыплются, как ровные, крупные зернушки, всегда подобранные и всегда готовые к вашим услугам. Сначала это вам и нравится, но потом станет противно...»

Именно Петр Верховенский является носителем самых разрушительных идей, носителем нечаевщины, идеологом разнузданного революционного террора, основанного на нравственной вседозволенности и безверии. Внешне он и его сообщники — борцы за справедливое переустройство общества. Но внутренне это циничные террористы, которые не останавливаются перед кровью для достижения своих честолюбивых целей. Революционный террор смыкается с уголовщиной: в этом смысл знаковой фигуры Фельки-каторжника, которая маячит на сцене в течение всего романа.

Чтобы достичь всеобщего счастья, основанного на всеобщем рабстве, революционеры должны изменить весь духовно-нравственный код России. И Петр Верховенский взахлеб говорит Ставрогину: «Слушайте, мы сделаем смуту. Мы проникнем в самый народ. Знаете ли, что мы уж и теперь ужасно сильны? Наши не те только, которые режут и жгут да делают классические выстрелы или кусаются. Слушайте, я их всех сосчитал: учитель, смеющийся с детьми над их Богом и над их колыбелью, уже наш. Адвокат, защищающий образованного убийцу тем, что он развитее своих жертв и, чтобы денег добыть, не мог не убить, уже наш. Школьники, убивающие мужика, чтоб испытать ощущение, наши. Присяжные, оправдывающие преступников сплошь, наши. Прокурор, трепещущий в суде, что он недостаточно либерален, наш, наш. Администраторы, литераторы, о, наших много, ужасно много, и сами того не знают!.. Русский Бог уже спасовал пред “дешевкой”. Народ пьян, матери пьяны, дети пьяны, церкви пусты... О, дайте взрасти поколению!.. Ах, как жаль, что нет пролетариев! Но будут, будут, к этому идет...»

Слова Петра Верховенского созвучны тому, что сам Достоевский говорил в «Дневнике писателя» за 1873 год: «Матери пьют, дети пьют, церкви пустеют, отцы разбойничают». Но в грозных знамениях времени он видит предвосхищение грядущих бедствий. Россия протянет еще целые 45 лет до того, как революционная стихия окончательно поглотит ее и бесы придут к власти. Во имя свободы, равенства и братства всю страну охватит «красный террор». Будут уничтожены целые классы и сословия: дворянство, зажиточное крестьянство (так называемое кулачество), интеллигенция, казачество. Будет поставлена цель уничтожить Церковь путем физического истребления духовенства. Страну охватит массовое безумие, воинствующий атеизм будет провозглашен государственной идеологией.

Во времена Достоевского спорили о путях справедливого переустройства общества. Одни выступали за эволюционный путь, другие за революционный. Но Достоевский был единственным, кто разглядел в революционной идеологии бесовскую сущность. Ни Белинский, ни Тургенев, ни Герцен, ни Толстой ее не видели, а потому каждый из них по-своему заигрывал с революционерами, по-своему сочувствовал им. В этом проявлялась их духовная близорукость, причиной которого было отсутствие подлинного религиозного опыта. Достоевский из глубины этого опыта узрел суть грядущей революции и ужаснулся ей.

## Шигалев

У каждого из «бесов» своя теория переустройства общества. Шигалев «предлагает, в виде конечного разрешения вопроса, — разделение человечества на две неравные части. Одна десятая доля получает свободу личности и безграничное право над остальными девятью десятыми. Те же должны потерять личность и обратиться вроде как в стадо и при безграничном повиновении достигнуть рядом перерождений первобытной невинности, вроде как бы первобытного рая, хотя, впрочем, и будут работать. Меры, предлагаемые автором для отнятия у девяти десятых человечества воли и переделки его в стадо, посредством перевоспитания целых поколений, — весьма замечательны, основаны на естественных данных и очень логичны».

Такова теория Шигалева в пересказе Петра Верховенского. Она напоминает теорию Родиона Раскольникова: тот тоже делил человечество на две неравные части — обыкновенные и необыкновенные. Но если Раскольников хотел осчастливить человечество путем справедливого перераспределения финансовых ресурсов, то у «бесов» — более далеко идущие цели. Их цель — построение тоталитарного режима, где «все рабы и в рабстве равны». Тоталитарное государство должно быть основано на деспотизме, убежден Шигалев: «без деспотизма еще не бывало ни свободы, ни равенства, но в стаде должно быть равенство».

Неверно видеть в Достоевском лишь консерватора в борьбе с прогрессистами, противника социализма и сторонника капитализма, защитника монархии и отрицателя конституционного строя, славянофила, противостоящего западникам. Достоевский прозревал глубже и видел дальше. Он видел глубинные корни революционного движения и предсказывал, к каким катастрофическим последствиям оно приведет: «Достоевский — художник и мыслитель эпохи начавшейся подземной революции. Он с гениальной прозорливостью почуял идейные основы и характер грядущей революции русской, а может быть, и всемирной. Он — пророк русской революции в самом бесспорном смысле этого слова. Революция совершилась по Достоевскому. Он раскрыл ее идейные основы, ее внутреннюю диалектику и дал ее образ. Он из глубины духа, из внутренних процессов постиг характер русской революции, а не из внешних событий окружающей его эмпирической действительности... Он — величайший изобличитель лжи и неправды того духа, который действует в революции, он предвидит в грядущем нарастание антихристового духа, духа человекобожества», — пишет Бердяев.

## Кириллов

Носителем идеи человекобожества в «Бесах» является Кириллов: «Теперь человек еще не тот человек. Будет новый человек, счастливый и гордый. Кому будет все равно, жить или не жить, тот будет новый человек. Кто победит боль и страх, тот сам бог будет». Характерен диалог Кириллова со Ставрогиним:

— Кто научит, что все хороши, тот мир закончит.

— Кто учил, Того распяли.

— Он придет, и имя ему человекобог.

— Богочеловек?

— Человекобог, в этом разница.

Человекобог приходит на место Богочеловека, «счастливый и гордый» человек — на место смиренного и страдающего Христа. По словам Бердяева, «вражда Достоевского к революции не была враждой бытового человека, отстаивающего какие-либо интересы старого строя жизни. Это была вражда апокалиптического человека, ставшего на сторону Христа в последней борьбе его с антихристом... Достоевский вскрывает обманчивый характер “революции”. Она никогда не достигает того, чем прельщает. В “революции” антихрист подменяет Христа. Люди не захотели свободно

соединиться во Христе, и потому они принудительно соединяются в антихристе».

В «Преступлении и наказании» созданная Раскольниковым теория привела его к убийству. В «Бесах» убийство Шатова — неотъемлемая часть того плана справедливого переустройства общества, осуществлением которого занята революционная «пятерка» во главе с Петром Верховенским. В этой пятерке все построено на шпионаже: все следят друг за другом. Несогласных, пытающихся вырваться из мира бесов, убивают. Таков закон революционной борьбы. «У него хорошо в тетради, — говорит Верховенский о Шигалеве, — у него шпионство. У него каждый член общества смотрит один за другим и обязан доносом. Каждый принадлежит всем, а все каждому. В крайних случаях клевета и убийство, а главное — равенство».

Кириллову в замысле убийства Шатова отведена своя роль. Поскольку он разработал теорию самоубийства как пути к достижению человекобожества («кто смеет убить себя, тот бог»), то ему и предлагается убить себя, оставив предсмертную записку, в которой он возьмет на себя вину за убийство Шатова. Тем самым он внесет вклад в общее революционное дело. Так закладывается образ революционера — мученика за идею, готового пожертвовать собственной жизнью ради общего блага. Образ этот — такой же гротескный, как и другие образы «Бесов». Но и этот образ Достоевский наделил своими собственными чертами: Кириллов тоже эпилептик; как и Достоевский, он не спит по ночам, подкрепляя себя крепким чаем.

Более того, Кириллов — тоже по-своему верующий; Верховенский даже обвиняет его в том, что он верует в Бога «больше попа». «В кого? В Него! — отвечает Кириллов. — ...Слушай: этот человек был высший на всей земле, составлял то, для чего ей жить. Вся планета, со всем, что на ней, без этого человека — одно сумасшествие». Сияющий образ Христа на минуту мелькает в предсмертной речи Кириллова. Но теория, рабом которой стал Кириллов, вытесняет этот образ из его сознания, и он отрекается от веры: «Я не понимаю, как мог до сих пор атеист знать, что нет Бога, и не убить себя тотчас же? Сознать, что нет Бога, и не сознать в тот же раз, что сам богом стал, есть нелепость, иначе непременно убьешь себя сам. Это я убью себя сам непременно, чтобы начать и доказать. Я обязан уверовать, что не верую. Я три года искал атрибут божества моего и нашел: атрибут божества моего — Своеволие!.. Я убиваю себя, чтобы показать непокорность и новую страшную свободу мою». Самоубийство Кириллова является завершением его пути от веры к неверию, от Богочеловека к человекобогу.

## Шатов

Шатов — символ протеста против революции. Он пытается вырваться из объятий бесов. Он осознал неправду революционной идеологии, а главное — неправду атеизма. Он ищет свой путь к Богу. Он — еще один двойник Достоевского в романе, в его уста Достоевский вкладывает свои собственные воззрения на судьбу России: «Цель всего движения народного, во всяком народе и во всякий период его бытия, есть единственно лишь искание Бога, Бога своего, непременно собственного, и вера в Него как в единого истинного. Никогда еще не было, чтоб у всех или у многих народов был один общий Бог, но всегда и у каждого был особый. Чем сильнее народ, тем особеннее его Бог. Никогда не было еще народа без религии, то есть без понятия о зле и добре. Когда начинают у многих народов становиться общими понятия о зле и добре, тогда вымирают народы и тогда самое различие между злом и добром начинает стираться и исчезать».

Шатов — противник общечеловеческой нравственности и единой всемирной религии. Он считает, что у России свой путь, а потому у нее должен быть и свой Бог. Имя этому Богу — Христос. Не просто Христос универсальный, общечеловеческий, а «русский Христос» — Тот, Который становится своим для русского народа.

Но Бог не может быть просто частью идеологии. Ставрогин обвиняет Шатова в том, что он

низводит Бога до простого атрибута народности. Шатов резко реагирует: «Напротив, народ возношу до Бога. Народ — это тело Божие... Единый народ-“богоносец” — это русский народ...» Тогда Ставрогин задает Шатову ключевой вопрос: «Веруете вы сами в Бога или нет? — Я верую в Россию, я верую в ее Православие... Я верую в Тело Христово... Я верую, что новое Пришествие совершится в России... Я верую... — залепетал в исступлении Шатов. — А в Бога? В Бога? — Я... я буду веровать в Бога».

Таков антиномизм «символа веры» самого Достоевского. Он верит в особое призвание России. Верит в то, что Россия без Бога, без Христа погибнет. Не мыслит будущее России без Православия. Предупреждает о том, к чему приведут попытки переустроить Россию по безбожному, социалистическому образцу. Но при этом сам находится в постоянном поиске Бога. И личная вера в Бога для него не данность, а скорее цель, к которой он идет и вместе с собой ведет читателя.

Вполне естественно, что человек с такими воззрениями, как у Шатова, не может быть частью революционного бесовского мира. А потому он выходит из кружка Верховенского, и члены пятерки убивают его.

### **«У Тихона»**

Что противопоставляет Достоевский революционной стихии, атеизму и нигилизму? В романе «Бесы» есть глава, которую не пропустила цензура. Именно она дает ключ к разгадке самоубийства Ставрогина. Она называется «У Тихона». Работая над романом, Достоевский писал: «Но не все будут мрачные лица; будут и светлые. В первый раз, например, хочу прикоснуться к одному разряду лиц, еще мало тронутых литературой. Идеалом такого лица беру Тихона Задонского. С ним сопоставляю и свожу на время героя романа».

Святитель Тихон Задонский жил в XVIII веке. Он сделал обычную по тем временам церковную «карьеру», был епископом Воронежским, но в возрасте 50 с небольшим лет ушел на покой и остаток жизни провел в монастыре. Он жил в скромной аскетической обстановке, отличался глубоким смирением и всепрощением, несмотря на природную эмоциональность и вспыльчивость. В народе он прослыл старцем, к нему ездили за советом, многих он принимал и наставлял.

Недолгое время Тихон был игуменом Тверского Жёлтикова монастыря, который стал прототипом Спасо-Евфимиевского Богородицкого монастыря, упоминаемого в романе «Бесы». Сюда к Тихону приходит Ставрогин для своеобразной «исповеди». Ставрогин совершил ужасное преступление — растлил и довел до самоубийства несовершеннолетнюю Матрешу.

(Не доведя главу до состояния чистовика, автор не определился до конца с ее возрастом: сначала Ставрогин говорит, что она была «думаю, лет четырнадцати», а позже упоминает о «жалком отчаянии беспомощного десятилетнего существа с несложившимся рассудком».)

С этим преступлением Ставрогин живет, оно его тяготит. И вот он решает принести покаяние перед всем миром, опубликовав эту жуткую историю, а заодно написав и о других совершённых преступлениях («С одной женщиной я поступил хуже, и она оттого умерла. Я лишил жизни на дуэли двух невинных передо мною... На мне есть одно отравление — намеренное и удавшееся и никому не известное»). Перед публикацией он приходит к Тихону, чтобы показать ему отпечатанный текст. Но это не настоящая исповедь. Гордыня не позволяет Ставрогину принести подлинное покаяние, оплакать свой грех. Он не готов скинуть с себя маску цинизма и даже из своего покаяния хочет сделать перформанс.

Между ним и Тихоном завязывается странный разговор. Ставрогин жалуется на галлюцинации: по ночам «он видит иногда или чувствует подле себя какое-то злобное существо, насмешливое и “разумное”, “в разных лицах и в разных характерах, но оно одно и то же”». Тихон подтверждает догадку Ставрогина: ему является бес. «А можно ль веровать в беса, не веруя совсем в Бога?» —

говорит Ставрогин со смехом. «О, очень можно, сплошь и рядом», — говорит Тихон с улыбкой. «И уверен, что такую веру вы находите все-таки почтеннее, чем полное безверие»: Ставрогин уже хохочет. А Тихон только тихо улыбается: «Напротив, полный атеизм почтеннее светского равнодушия... Совершенный атеист стоит на предпоследней верхней ступени до совершеннейшей веры (там перешагнет ли ее, нет ли), а равнодушный никакой веры не имеет, кроме дурного страха».

По просьбе Ставрогина Тихон читает отрывок из Апокалипсиса: «И ангелу Лаодикийской церкви напиши: сие глаголет Аминь, свидетель верный и истинный, начало создания Божия: знаю твои дела; ни холоден, ни горяч; о если б ты был холоден или горяч! Но поелику ты тепл, а не горяч и не холоден, то изблюю тебя из уст Моих. Ибо ты говоришь: я богат, разбогател, и ни в чем не имею нужды; а не знаешь, что ты жалок, и беден, и нищ, и слеп, и наг» (Откр. 3:14-17). Теплохладность всегда отталкивала Достоевского. Он считал, что лучше уж быть атеистом, но богоискателем, чем равнодушным верующим. И мысль эту вкладывает в уста Тихона.

Тихон внимательно и долго читает «исповедь» Ставрогина, потом говорит: «Меня ужаснула великая праздная сила, ушедшая нарочито в мерзость». Но всенародное покаяние, задуманное Ставрогиным, представляется Тихону «смешным», а совершённое им преступление он называет «некрасивым»: «В преступлениях, каковы бы они ни были, чем более крови, чем более ужаса, тем они внушительнее, так сказать, картиннее; но есть преступления стыдные, позорные, мимо всякого ужаса, так сказать, даже слишком уж не изящные».

Тихон призывает Ставрогина к полному, христианскому покаянию и обещает ему: «Вам за неверие Бог простит, ибо Духа Святого чтите, не зная Его». Ставрогин не верит: «Христос ведь не простит... ведь сказано в книге: “Если соблазните единого от малых сих” — помните? По Евангелию, больше преступления нет и не может быть. Вот в этой книге!» И он указывает на Евангелие. Но Тихон говорит с умилением: «Я вам радостную весть за сие скажу, и Христос простит, если только достигнете того, что простите сами себе. Он простит за намерение и страдание ваше великое, ибо нет ни слов, ни мысли в языке человеческом для выражения всех путей и поводов Агнца... Кто обнимет Его, Необъятного, кто поймет Всего, Бесконечного!»

Но Ставрогин оказывается неспособен переступить ту грань, которая отделяет атеиста от верующего. Он не готов встать на путь христианского покаяния. С криком «проклятый психолог!» он выбегает из кельи Тихона. И возвращается в мир бесов, из которого попытался было вырваться. Там его уже ничего не ждет, кроме пегли.

## Развязка

Эпиграф к роману повторяется в его финальной сцене, когда книгоноша читает умирающему Степану Верховенскому отрывок из Евангелия от Луки. Степан Трофимович говорит: «Видите, это точь-в-точь как наша Россия. Эти бесы, выходящие из больного и входящие в свиней, — это все язвы, все миазмы, вся нечистота, все бесы и все бесенята, накопившиеся в великом и милом нашем больном, в нашей России, за века, за века!.. Но великая мысль и великая воля осенят ее свыше, как и того безумного бесноватого, и выйдут все эти бесы, вся нечистота, вся эта мерзость, загноившаяся на поверхности... и сами будут проситься войти в свиней».

Степан Трофимович, который при жизни не был христианином, умирает по-христиански. Когда он уже при смерти, посылают за священником. Зная его убеждения, боясь, что он откажется от исповеди и Причастия. Но он «исповедовался и причастился весьма охотно», окружающие даже «пришли поздравить его с Приобщением Святых Таин». Священник говорит собравшимся: «В наше греховное время вера во Всевышнего есть единственное прибежище рода человеческого во всех скорбях и испытаниях жизни, равно как в уповании вечного блаженства, обетованного праведникам». Степан Трофимович горячо откликается: «Бог уже потому мне необходим, что это единственное

Существо, Которое можно вечно любить...»

Поколение отцов в лице Степана Трофимовича возвращается к исконной русской вере. А поколение сыновей остается во власти бесовского наваждения. Шатов убит, Кириллов застрелился, Ставрогин повесился, Петр Верховенский сбежал в Швейцарию, чтобы продолжить начатое революционное дело. Такова развязка романа. Испеления бесноватого не происходит, бесы не выходят из человека и не входят в свиное стадо. Они продолжают сидеть в русском народе и ждать часа своего торжества, «когда царей корона упадет... и пища многих будет смерть и кровь», когда «явится мощный человек. и будет все ужасно, мрачно в нем».

В пушкинской речи, используя образ «гордого человека» из поэмы «Цыгане», Достоевский видит в нем собирательный образ русского народа. Обращаясь к современникам и потомкам, он говорит: «Смирись, гордый человек, и прежде всего сломи свою гордость. Смирись, праздный человек, и прежде всего потрудишься на родной ниве. Не вне тебя правда, а в тебе самом: найди себя в себе, подчини себя себе, овладей собой — и узришь правду. Не в вещах эта правда, не вне тебя и не за морем где-нибудь, а прежде всего в твоём собственном труде над собою. Победишь себя, усмиришь себя — и станешь свободен как никогда и не воображал себе, и начнешь великое дело, и других свободными сделаешь, и узришь счастье, ибо наполнится жизнь твоя, и поймешь наконец народ свой и святую правду его».

Проповедь смирения — то новое слово в русской литературе, которое проходит красной нитью через зрелое творчество Достоевского. И призыв, завершающий пушкинскую речь, как бы подводит итог этой проповеди, источником которой является Евангелие: «Смешно иногда читать, когда ставится такая проблема: откуда идут его взгляды на смирение, на очищение страданием, на любовь — от Руссо, Паскаля, Шатобриана или Диккенса? Они идут от Евангелия, от московского дьякона, учившего его Закону Божию в доме Мариинской больницы, от его каторги с русским народом, от духа Христова, которого если кто не имеет, то и не поймет ничего в Христе. А Христос, как сказано, был “кроток и смирен сердцем”... В том и есть сила и власть Достоевского, что он пишет не как живописец прозы, не как “мастер искусства” за богатым письменным столом, а как создатель человека, и прежде всего самого себя, как друг, спасающий гибнущую душу, сам во всем пережив и все еще переживая эту нравственную гибель» (С. И. Фудель).

Спасение России и русского человека — не в заморских учениях, не в утопических идеалах свободы, равенства и братства, не в нечаевщине. «Я и сам старый нечаевец, — признается Достоевский. — Я стоял на эшафоте, приговоренный к смертной казни. Вы мне возразите, что я всего только из петрашевцев. Пусть. Но почему вы считаете, что петрашевцы не могли встать на нечаевскую дорогу?..» Революционеры бывают разных мастей, но за революционной идеологией стоит бесовская реальность, потому что революция вдохновляется безбожным, демоническим идеалом.

Достоевскому понадобилось пройти через эшафот и каторгу, чтобы отказаться от иллюзий молодости и прийти к убеждению, которое он вкладывает в уста своего героя: «Атеист не может быть русским», «неправославный не может быть русским». Достоевский верит, что спасение России и каждого русского человека — в подлинно народной вере, в Православии, во Христе. В этом — главная мысль его Евангелия, мысль пророческая, к которой современники не прислушались, но которая и теперь, в XXI веке, сохраняет свою актуальность.

## Глава 4. На пороге бессмертия

К середине 1870-х годов Достоевский становится знаменитым, всенародно известным и любимым писателем. Позади каторга, ссылка, годы поистине каторжного литературного труда. В 1876 году Достоевский приобрел свою первую недвижимость: двухэтажный дом в Старой Руссе. До этого он жил только на съемных квартирах.

Впрочем, «приобрел» — не вполне точное слово. Денег на покупку дома у Достоевского не было, и предприимчивая Анна Григорьевна попросила своего брата купить дом с тем, чтобы, когда появятся деньги, семья Достоевского могла его выкупить. Это в конце концов и случилось, но уже после смерти писателя.

Несмотря на условный статус собственности, при жизни Достоевский воспринимал этот дом как свое гнездо, охотно приезжал сюда из Петербурга. Здесь он работал над «Бесами» и «Подростком», здесь же у него зреет замысел романа-эпопеи «Братья Карамазовы».

16 мая 1878 года в Петербурге умирает младший сын Достоевского Алеша. Еще утром этого дня он разговаривает на своем детском языке и громко смеется, ничто не предвещает беду. Вдруг начинаются судороги, посылают за доктором. После ухода доктора Федор Михайлович опускается на колени возле постели младенца, рядом становится его жена. «И каково же было мое отчаяние, — вспоминает Анна Григорьевна, — когда вдруг дыхание младенца прекратилось и наступила смерть. Федор Михайлович поцеловал младенца, три раза его перекрестил и навзрыд заплакал. Я тоже рыдала... Федор Михайлович был страшно поражен этой смертью. Он как-то особенно любил Лешу, почти болезненной любовью, точно предчувствуя, что его скоро лишится. Федора Михайловича особенно угнетало то, что ребенок погиб от эпилепсии — болезни, от него унаследованной».

После похорон сына супруги приезжают в Старую Руссу, а затем писатель вместе с молодым философом Владимиром Соловьевым отправляется в Оптиную пустынь. Этот монастырь был известен на всю Россию. На протяжении всего XIX века в монастыре жили старцы — духовно опытные наставники, к которым со всей страны стекались паломники. Среди лиц, посещавших обитель, было много представителей дворянства и интеллигенции,

В 1850 году Гоголь после посещения обители писал о ней: «Я думаю, на самой Афонской горе не лучше. Благодать видимо там присутствует. Это слышится в самом наружном служении, хотя и не можем объяснить себе, почему. Нигде я не видал таких монахов. С каждым из них, мне казалось, беседует все небесное. Я не расспрашивал, кто из них как живет: их лица сказывали сами все. Самые служки меня поразили светлой ласковостью ангелов, лучезарной простотой обхождения; самые работники в монастыре, самые крестьяне и жители окрестностей. За несколько верст, подъезжая к обители, уже слышишь ее благоухание: все становится приветливее, поклоны ниже и участия к человеку больше».

Посетить Оптину пустынь было давним желанием Федора Михайловича, а тяжелая утрата сделала эту поездку необходимой. Он нуждался в утешении, духовном укреплении, нуждался в добром наставнике. И нашел его в лице старца Амвросия, ныне известного как преподобный Амвросий Оптинский.

«Вернулся Федор Михайлович из Оптиной пустыни как бы умиротворенный и значительно успокоившийся, — вспоминает Анна Григорьевна, — и много рассказывал мне про обычаи пустыни, где ему привелось пробыть двое суток. С тогдашним знаменитым старцем, о. Амвросием, Федор Михайлович виделся три раза: раз в толпе при народе и два раза наедине, и вынес из его бесед глубокое и проникновенное впечатление. Когда Федор Михайлович рассказал старцу о постигшем нас несчастии и о моем слишком бурно проявившемся горе, то старец спросил его, верующая ли я, и когда Федор Михайлович отвечал утвердительно, то просил его передать мне его благословение, а также те слова, которые потом в романе старец Зосима сказал опечаленной матери...»

## Старец Зосима

В романе «Братья Карамазовы» описывается, как старец Зосима выходит к народу, к нему теснятся женщины, одна из них стоит на коленях, «во взгляде ее было что-то как бы иступленное». Она рассказывает старцу, что «сыночка младенчика схоронила». Старец утешает ее: «Вот что, мать... однажды древний великий святой увидел во храме такую же, как ты, плачущую мать и тоже по младенце своем, по единственном, которого тоже призвал Господь. “Или не знаешь ты, — сказал ей святой, — сколь сии младенцы пред престолом Божиим дерзновенны? Даже и нет никого дерзновеннее их в Царствии Небесном: Ты, Господи, даровал нам жизнь, говорят они Богу, и только лишь мы узрели ее, как Ты ее у нас и взял назад. И столь дерзновенно просят и спрашивают, что Господь дает им немедленно ангельский чин”. Посему знай и ты, мать, что и твой младенец наверно теперь предстоит пред престолом Господним, и радуется, и веселится, и о тебе Бога молит. А потому и ты плачь, но радуйся».

Рассказ о старце Зосиме предваряется экскурсом в историю старчества. Достоевский считает нужным объяснить светскому читателю, что это за явление: «Люди специальные и компетентные утверждают, что старцы и старчество появились у нас, по нашим русским монастырям, весьма лишь недавно, даже нет и ста лет, тогда как на всем православном Востоке, особенно на Синае и на Афоне, существуют далеко уже за тысячу лет. Утверждают, что существовало старчество и у нас на Руси во времена древнейшие или непременно должно было существовать, но вследствие бедствий России, татарщины, смут, перерыва прежних сношений с Востоком после покорения Константинополя установление это забылось у нас и старцы пресекались. Возрождено же оно у нас опять с конца прошлого столетия одним из великих подвижников (как называют его) Паисием Величковским и учениками его, но и доселе, даже через сто почти лет, существует весьма еще не во многих монастырях и даже подвергалось иногда почти что гонениям, как неслыханное по России новшество. В особенности процвело оно у нас на Руси в одной знаменитой пустыне, Козельской Оптиной».

Отвечая на вопрос «что же такое старец?», Достоевский пишет: «Старец — это берущий вашу душу, вашу волю в свою душу и в свою волю. Избрав старца, вы от своей воли отрешаетесь и отдаете ее ему в полное послушание, с полным самоотрешением. Этот искус, эту страшную школу жизни обрекающий себя принимает добровольно в надежде после долгого искуса победить себя, овладеть собою до того, чтобы мог наконец достичь, чрез послушание всей жизни, уже совершенной свободы, то есть свободы от самого себя, избегнуть участи тех, которые всю жизнь прожили, а себя в себе не нашли. Изобретение это, то есть старчество, — не теоретическое, а выведено на Востоке из практики, в наше время уже тысячелетней. Обязанности к старцу не то, что обыкновенное послушание, всегда бывшее и в наших русских монастырях. Тут признается вечная исповедь всех подвижающихся старцу и неразрушимая связь между связавшим и связанным».

На протяжении многих лет Достоевский мечтал описать старца. Первая такая попытка была сделана им в главе «У Тихона» из романа «Бесы» — той самой главе, которая по цензурным соображениям при его жизни не была напечатана. Но там старец получился не столь убедителен, так как не был списан с натуры. Старец Зосима — собирательный образ. Это не портрет Амвросия Оптинского. Но именно встреча со старцем Амвросием помогла Достоевскому осуществить свою мечту.

В русской литературе духовенству не отводилась сколько-нибудь заметная роль. Если священник и появляется в каком-нибудь романе, то, как правило, чтобы кого-то покрестить, обвенчать или отпеть. Мы не видим священников среди главных героев ни у Пушкина, ни у Гоголя, ни у Тургенева. Русская литература как бы проходит мимо них. Она не проникает в мир Церкви, а Церковь практически никак не соприкасается с миром литературы.

Исключение составляет Николай Лесков. Этот даровитый русский писатель посвятил описанию быта и нравов духовенства несколько произведений. В одном из них — «Соборяне» — три главных героя: протоиерей Савелий Туберозов, священник Захария Бенефактов и дьякон Ахилла Десницын. Живут они в вымышленном городе Старгороде и все трое являются членами местной «соборной поповки». В романе много сатиры в гоголевском духе, но написан он с симпатией к духовенству. Другое сочинение называется «Мелочи архиерейской жизни» и представляет собой довольно занятное описание случаев — по большей части комичных — из жизни архиереев того времени; особое внимание уделяется Филарету Московскому.

Достоевский познакомился с Лесковым вскоре после возвращения из ссылки, когда тот еще был начинающим писателем. В течение нескольких лет Лесков печатался в журналах, которые издавал Достоевский. Однако друзьями они не стали. Более того, когда вышел роман «Идиот», Лесков публично раскритиковал его. Достоевский в долгу не оставался и критиковал сочинения Лескова в «Дневнике писателя», правда, достаточно сдержанно. В личной переписке он был более откровенен. По поводу одного из романов Лескова он замечает: «Много вранья, много черт знает чего, точно на луне происходит». Не нравится Достоевскому заикленность Лескова на быте духовенства: «А какой он мастер рисовать наших попиков!» В черновых набросках Достоевского сохранилась даже такая эпиграмма:

Описывать все сплошь одних попов,  
По-моему, и скучно, и не в моде;  
Теперь ты пишешь в захудалом роде:  
Не провались, Лесков.

Знакомясь с сочинениями Лескова, мы видим, что его всегда интересовала внешняя сторона церковной жизни. Она казалась ему занимательной, колоритной, и он с удовольствием ее описывал. Однако его сочинения лишены того благоговейного и трепетного отношения к Церкви, которое мы находим у Достоевского. И его совершенно не интересует то, что происходит на глубине церковной жизни: он все время скользит по ее поверхности. Не случайно писатель, более других потрудившийся в изображении церковного быта, кончил разрывом с Церковью и уходом в толстовство. Суть Церкви он не распознал, по-настоящему ее не полюбил, живого Христа не встретил.

Даже после смерти Достоевского Лесков продолжал поносить его: «Пишущий эти строки знал лично Ф. М. Достоевского и имел неоднократно поводы заключать, что этому даровитейшему человеку, страстно любившему касаться вопросов веры, в значительной степени недоставало начитанности в духовной литературе, с которою он начал свое знакомство в довольно поздние годы жизни и по кипучей страстности своих симпатий не находил в себе спокойности для внимательного и беспристрастного ее изучения. Совсем иное в этом отношении представляет благочестиво настроенный и философски свободный ум графа Л. Н. Толстого, в произведениях которого, везде видна большая и основательная начитанность и глубокая вдумчивость».

Насколько в этих язвительных суждениях Лесков неправ, в этом сможет убедиться всякий, кто прочитает раздел «Из бесед и поучений старца Зосимы» в романе «Братья Карамазовы». Здесь много замечательных страниц, в которых видны и глубокие познания в области святоотеческого богословия, и собственный религиозный опыт писателя, и его начитанность в Священном Писании, и знакомство с жизнью духовенства.

Вот, например, что старец Зосима говорит о приходских священниках: «Други и учителя, слышал я не раз... как у нас иереи Божии, а душе всего сельские, жалуются слезно и повсеместно на малое свое содержание и на унижение свое и прямо заверяют, даже печатно, — читал сие сам, — что не могут они уже теперь будто бы толковать народу Писание, ибо мало у них содержания, и если приходят уже лютеране и еретики и начинают отбивать стадо, то и пусть отбивают, ибо мало-де у нас содержания». Таким пастырям старец энергично возражает: «Не круглый же год работа. Собери он у

себя раз в неделю, в вечерний час, сначала лишь только хоть деток, — прослышат отцы, и отцы приходиться начнут. Разверни-ка он им эту книгу и начини читать без премудрых слов и без чванства, без возношения над ними, а умиленно и кротко, сам радуясь тому, что читаешь им и что они тебя слушают и понимают тебя, сам любя словеса сии, изредка лишь остановись и растолкуй иное непонятное простолюдину слово, не беспокойся, поймут все, все поймет православное сердце!.. Нужно лишь малое семя, крохотное: брось он его в душу простолюдина, и не умрет оно, будет жить в душе его во всю жизнь, таиться в нем среди мрака, среди смрада грехов его, как светлая точка, как великое напоминание. И не надо, не надо много толковать и учить, все поймет он просто. Кто не верит в Бога, тот и в народ Божий не поверит. Кто же уверовал в народ Божий, тот узрит и святыню его, хотя бы и сам не верил в нее до того вовсе. Лишь народ и духовная сила его грядущая обратит отторгнувшихся от родной земли атеистов наших. И что за слово Христово без примера? Гибель народу без слова Божия, ибо жаждет душа его слова и всякого прекрасного восприятия».

Эти слова, во-первых, свидетельствуют о том, что Достоевский следил за дискуссией в церковной и светской печати о положении сельского духовенства. Надо сказать, что к духовенству своего времени Достоевский был настроен достаточно критично: «Ну кто всего ближе стоит к народу? Духовенство? Но духовенство наше не отвечает на вопросы народа давно уже. Кроме иных, еще горящих огнем ревности о Христе священников, часто незаметных, никому не известных, именно потому что ничего не ищут для себя, а живут лишь для паствы, — кроме этих и, увы, весьма, кажется, немногих, остальные, если уж очень потребуются от них ответы, — ответят на вопросы, пожалуй, еще доносом на них. Другие до того отдалают от себя паству несоразмерными ни с чем поборами, что к ним не придет никто спрашивать». В поучениях старца Зосимы Достоевский устами своего героя говорит о том, как это положение можно исправить.

Во-вторых, слова старца Зосимы показывают, что в споре между противниками и защитниками перевода Библии на русский язык Достоевский однозначно стоял на стороне последних. Спор продолжался в течение всего царствования Николая I и завершился лишь при Александре II, когда труды по переводу Библии были возобновлены после длительного перерыва. Это возобновление почти совпало с выходом Достоевского на свободу, и за появлявшимися новыми переводами библейских книг он внимательно следил.

Интересные наблюдения сделал протоиерей Николай Балашов относительно того, как в романах Достоевского соседствуют цитаты из русского и славянского переводов Библии: «Почти все библейские тексты, имеющие концептуально важное для Достоевского значение, приводятся им в русском переводе. Именно в таком виде они входят в ткань его романов как слово Божие, которое “живо и действенно и острее всякого меча обоюдоострого”, а потому оно, это слово, властно, с преобразующей и опаляющей силой вторгается в жизнь его героев, “проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные” (Евр. 4:12)... А вот когда персонажи Достоевского, понаслышке что-то знающие из Евангелия или других священных книг, пытаются жонглировать словом Божиим в своих интересах, в их устах, как правило, звучат церковнославянские слова». В качестве примеров приводятся старец Зосима, который цитирует Писание по-русски, и отрицательные герои, чья речь, напротив, пересыпана славянизмами: Федька Каторжный из «Бесов», Федор Павлович и монах Ферапонт из «Братьев Карамазовых».

Чем обусловлен такой выбор? Достоевский знал и любил славянскую Библию, но, возможно, в его сознании (или подсознании) обильное цитирование Библии по-церковнославянски ассоциировалось с начетничеством, с формальным подходом к священному тексту, неспособностью или нежеланием вникнуть в его содержание, с ошибочным его толкованием. В подготовительных материалах к роману «Братья Карамазовы» имеется такая заметка: «Важнейшее. Помещик цитует из Евангелия и грубо ошибается. Миусов поправляет его и ошибается еще грубее. Даже Ученый ошибается. Никто Евангелия не знает».

Слова старца Зосимы о важности Священного Писания для простого народа отражают собственные воззрения Достоевского, сложившиеся у него в течение долгого времени, начиная с каторги. Он был горячим апологетом вдумчивого изучения Библии по русскому переводу. В записных тетрадях Достоевского часто упоминается Священное Писание: «В Евангелии сказано Христом окончательное слово развития человеческого»; «Библия принадлежит всем, атеистам и верующим равно. Это книга человечества»; «Библия... Читать детям»; «Библия. Эта книга непобедима. Эту книгу не потрясут даже дети священников наших, пишущие в наших либеральных журналах» (под детьми священников в данном случае следует понимать Чернышевского и Добролюбова). В письмах Достоевский советует своим адресатам: «Хорошо, если б Вы тоже прочли всю Библию в переводе. Удивительное впечатление в целом делает эта книга. Другой такой книги в человечестве нет и не может быть»; «Над всем, конечно, Евангелие, Новый Завет в переводе».

Особое место в круге чтения Достоевского занимало святоотеческое богословие. В библиотеке Достоевского имелись произведения древних отцов Церкви — Исаака Сирина, Марка Подвижника, Симеона Нового Богослова, а также многочисленные богословские сочинения авторов XIX века, включая Филарета Московского.

Большое влияние на Достоевского оказала книга афонского инока Парфения «Сказание о странствии и путешествии по России, Молдавии, Турции и Святой Земле». В 1870 году Достоевский писал: «Хочется мне ужасно, до последнего влечения, пред возвращением в Россию съездить на Восток, то есть в Константинополь, Афины, Архипелаг, Сирию, Иерусалим и Афон. Я бы написал книгу о поездке в Иерусалим». Этому желанию не суждено было сбыться: задавленный долговыми обязательствами, Достоевский не мог позволить себе такую поездку. Заменой впечатлений от несостоявшегося паломничества стали для него рассказы инока Парфения.

В своей книге иннок-путешественник описывает встречи с монахами, иерархами, священнослужителями и простыми людьми, делая особый акцент на духовных дарованиях, которыми они обладали. Книга Парфения продолжает жанр «патериков», или «отечников» — сборников изречений святых отцов и эпизодов из их жизни. Однако ценность книги в том, что Парфений описывает не древних святых, а своих современников — тех, кого он видел сам. Отдельные эпизоды из книги инкорпорированы Достоевским в роман «Братья Карамазовы», в частности в разделы, посвященные старцу Зосиме. Обширный список таких заимствований можно найти в книге С. И. Фуделя «Наследство Достоевского».

Любимым чтением Достоевского были творения преподобного Исаака — сирийского подвижника и отшельника VII века. «Знакомство с творениями отцов Церкви и, в частности, Исаака Сирина было весьма плодотворным для Достоевского. Благодаря им то, что писатель чувствовал глубоко, но неопределенно, обрело ясность в пронизанных любовью текстах, обращенных к монахам с чистыми сердцами, а также ко всем, кто пережил страдание, стал кротким и нашел в себе силы искать в этом смысл» (С. Сальвестрони).

В поучениях Исаака Сирина много говорится о любви, милости, прощении и покаянии. Достоевского не могли оставить равнодушным слова Исаака Сирина: «И что есть сердце милующее?.. Возгорение сердца у человека о всем творении, о человеках, о птицах, о животных, о демонах и о всякой твари. При воспоминании о них и при воззрении на них очи у человека источают слезы. От великой и сильной жалости, объемлющей сердце, и от великого терпения умалется сердце его, и не может оно вынести, или слышать, или видеть какого-либо вреда или малой печали, претерпеваемых тварию. А посему и о бессловесных, и о врагах истины, и о делающих ему вред ежечасно со слезами приносит молитву, чтобы сохранились и были они помилованы; а также и об естестве пресмыкающихся молится с великою жалостию, какая без меры возбуждается в сердце его до уподобления в сем Богу».

Эти слова нашли отражение в поучениях старца Зосимы, где слышны похожие мотивы:

«Братья, не бойтесь греха людей, любите человека и во грехе его, ибо сие уж подобие Божеской любви и есть верх любви на земле. Любите все создание Божие, и целое, и каждую песчинку. Каждый листик, каждый луч Божий любите. Любите животных, любите растения, любите всякую вещь. Будешь любить всякую вещь и тайну Божию постигнешь в вещах. И полюбишь наконец весь мир уже всецело, всемирною любовью. Животных любите: им Бог дал начало мысли и радость безмятежную. Не возмущайте же ее, не мучьте их, не отнимайте у них радости, не противьтесь мысли Божией. Деток любите особенно...»

Еще одна очевидная параллель — слова Исаака Сирина об адском мучении и поучение на ту же тему старца Зосимы. Исаак Сирин пишет: «Говорю же, что мучимые в геенне поражаются бичом любви! И как горько и жестоко это мучение любви! Ибо ощутившие, что погрешили они против любви, терпят мучение вящее всякого приводящего в страх мучения; печаль, поражающая сердце за грех против любви, страшнее всякого возможного наказания».

Старец Зосима развивает эти мысли: «Отцы и учителя, мысля: “Что есть ад?” Рассуждаю так: “Страдание о том, что нельзя уже более любить”. Мучение сие не внешнее, а внутри их. А если б и возможно было отнять, то, мысля, стали бы оттого еще горше несчастными. Ибо хоть и простили бы их праведные из рая, созерцая муки их, и призвали бы их к себе, любя бесконечно, но тем самым им еще более бы приумножили мук, ибо возбудили бы в них еще сильнее пламень жажды ответной, деятельной и благодарной любви, которая уже невозможна».

А вот что старец Зосима пишет о молитве: «Юноша, не забывай молитвы. Каждый раз в молитве твоей, если искренна, мелькнет новое чувство, а в нем и новая мысль, которую ты прежде не знал и которая вновь ободрит тебя; и поймешь, что молитва есть воспитание. Запомни еще: на каждый день и когда лишь можешь, тверди про себя: “Господи, помилуй всех днесь пред Тобою представших”. Ибо в каждый час и каждое мгновение тысячи людей покидают жизнь свою на сей земле и души их становятся пред Господом — и сколь многие из них расстались с землею отъединенно, никому не ведомо, в грусти и тоске, что никто-то не пожалеет о них и даже не знает о них вовсе: жили ль они или нет. И вот, может быть, с другого конца земли вознесется ко Господу за упокой его и твоя молитва, хотя бы ты и не знал его вовсе, а он тебя».

Где еще в русской художественной литературе можно встретить столь проникновенные слова о молитве? В них, несомненно, отражается не только знание святоотеческого учения о молитве, но и собственный молитвенный опыт писателя.

В 16-летнем возрасте Достоевский, делясь в письме с отцом желанием всегда радовать его, пишет: «Каждый день я молюсь со слезами Богу об этом». А незадолго до смерти пишет И. С. Аксакову в связи с изданием «Дневника писателя»: «Вам дружески признаюсь, что, предпринимая с будущего года “Дневник”... часто и многократно на коленях молился уже Богу, чтоб дал мне сердце чистое, слово чистое, безгрешное, нераздражительное, независтливое».

В романе «Подросток» Макар Долгорукий постоянно полупшепотом произносит молитву: «Господи, Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас». Аркадия он спрашивает: «Ты молишься ли перед сном-то?» «Нет, считаю это пустою обрядностью», — отвечает тот. «Напрасно, друг, не молишься; хорошо оно, сердцу весело, и пред сном, и восстав от сна, и пробудясь в ночи», — говорит Макар. Умирая, он завещает сыну: «Ты, милый, Церкви святой ревнуй, и еще позовет время — и умри за нее. Молитву приучайся творить ежедневно и неуклонно».

Для Достоевского молитва тоже была не исполнением обряда, не формальностью, а живой потребностью души. По свидетельствам близких, его молитва стала особенно глубокой и проникновенной в последние годы жизни. Молился он и дома, и в храме, молился не только за себя, но и за своих детей, за живых и усопших, за Россию и русский народ. Перед сном он всегда приходил к детям, чтобы благословить их на сон и прочитать с ними «Отче наш», «Богородице Дево, радуйся»

и свою любимую молитву, которой его в детстве научила няня: «Все упование мое на Тя возлагаю...»

Горячей молитвой Достоевский реагировал на важные события в истории России. Анна Григорьевна Достоевская рассказывает о его реакции на царский манифест в связи с началом Русско-Турецкой войны 1877 года: «Прочитав манифест, Федор Михайлович велел извозчику везти нас к Казанскому собору. В соборе было не мало народу и служили непрерывные молебны перед иконой Казанской Божией Матери. Федор Михайлович тотчас скрылся в толпе. Зная, что в иные торжественные минуты он любит молиться в тиши, без свидетелей, я не пошла за ним и только полчаса спустя отыскала его в уголке собора, до того погруженного в молитвенное и умиленное настроение, что в первое мгновение он меня не признал».

На фоне других героев Достоевского старец Зосима выделяется своей цельностью, неотмирностью. Он не главный герой романа «Братья Карамазовы», но в романе занимает духовно центральное место. Он — тот идеал Христовой любви, который Достоевский противопоставляет окружающей действительности. Из трех братьев Карамазовых только один — Алеша — по своему характеру и умонастроению приближается к этому идеалу. Остальные же персонажи романа отстоят от него очень далеко.

Основную идею романа выразил Владимир Соловьев: «Церковь как положительный общественный идеал должна была явиться центральной идеей нового романа... Если этот общественный идеал Достоевского прямо противоположен идеалу тех современных деятелей, которые изображены в “Бесах”, то точно так же противоположны для них и пути достижения. Там путь есть насилие и убийство, здесь путь есть нравственный подвиг, и притом двойной подвиг, двойной акт нравственного самоотречения. Прежде всего требуется от личности, чтобы она отрелась от своего произвольного мнения, от своей самодельной правды во имя общей, всенародной веры и правды. Личность должна преклониться перед народной верой, но не потому, что она народная, а потому, что она истинная».

### **Семейство Карамазовых**

Действие романа происходит в Скотопригоньевске — вымышленном городе, прототипом которого, по свидетельству дочери Достоевского, является Старая Русса. Вымышленные города — не редкость в русской литературе. Действие нескольких пьес Островского разворачивается в городах Калинов, Бряхимов и Черемухин, «соборяне» Лескова живут в Старгороде, Салтыков-Щедрин пишет сатирическую «Историю города Глупова». «Не всем же жить в столицах, надобно кому-нибудь жить и в уездном городе», — говорит один из героев Островского. Скотопригоньевск — это уездный город, символ российской глубинки, в его жизненном укладе отражены характерные особенности других провинциальных городов.

В этом городе живет семья Карамазовых. Отец, Федор Павлович, «тип человека... дрянного и развратного». Всю жизнь он «хотя и кутил, и пил, и дебоширил, но никогда не переставал заниматься помещением своего капитала и устраивал делишки свои всегда удачно, хотя, конечно, почти всегда подловато». Был он «далеко не из религиозных людей; человек никогда, может быть, пятикопеечной свечки не поставил пред образом».

У него трое сыновей: старший, Дмитрий, от первого брака, и двое от второго брака — Иван и Алексей.

Когда Достоевский начинал писать роман, он полагал, что именно Алексей станет главным героем: об этом прямо говорится в предисловии. Однако по мере продвижения работы над романом (а издавался он по частям) акцент смещался то в сторону Ивана, то в сторону Дмитрия, так что главными героями в конечном итоге стали все трое.

«Братья Карамазовы» — увенчание творчества Достоевского. В этом романе сконцентрированы

основные философские темы, волновавшие писателя на протяжении всей жизни. Ставится здесь и главный вопрос — о существовании Бога. Религиозная тема — центральная тема романа. Каждый из его персонажей занят, прежде всего, уяснением главных вопросов бытия, из которых первым является вопрос существования Бога. Вокруг этого вопроса, в конечном итоге, вращается все повествование. Федор Павлович «за коньячком» беседует с сыновьями:

— Иван, говори: есть Бог или нет?.. Только серьезно! Мне надо теперь серьезно.

— Нет, нету Бога.

— Алешка, есть Бог?

— Есть Бог.

Два полюса обозначены с предельной четкостью. Между этими двумя полюсами располагаются все герои романа.

Как это бывало и в предыдущих романах Достоевского, своих героев он наделяет собственными чертами и в их уста вкладывает свои мысли. «Дмитрий, Иван и Алеша — три аспекта личности Достоевского, три этапа его духовного пути. Пылкий и благородный Дмитрий... воплощает романтический период жизни автора; трагическая судьба его, обвинение в отцеубийстве и ссылка в Сибирь... связывается с воспоминаниями о годах каторги. Иван, атеист и создатель социальной утопии, отражает эпоху дружбы с Белинским и увлечения атеистическим социализмом. Алеша — символический образ писателя послекаторжного периода, когда в нем произошло “перерождение убеждений”, когда он обрел русский народ и русского Христа. Роман “Братья Карамазовы” раскрывается перед нами как духовная биография автора и его художественная исповедь. Но, превращенная в произведение искусства, история личности Достоевского становится историей человеческой личности вообще. Исчезает случайное и индивидуальное, вырастает вселенское и всечеловеческое. Писатель изображает трех братьев как духовное единство» (К. Мочульский).

## **Иван**

Иван — во многих отношениях антипод Алеши. Он проповедник нравственной вседозволенности. Он утверждает, что «если есть и была до сих пор любовь на земле, то не от закона естественного, а единственно потому, что люди веровали в свое бессмертие... так что уничтожьте в человечестве веру в свое бессмертие, в нем тотчас же иссякнет не только любовь, но и всякая живая сила, чтобы продолжать мировую жизнь. Мало того: тогда ничего уже не будет безнравственного, все будет позволено.»

Из этого делается вывод, что «для каждого частного лица... не верующего ни в Бога, ни в бессмертие свое, нравственный закон природы должен немедленно измениться в полную противоположность прежнему, религиозному, и что эгоизм даже до злодейства не только должен быть дозволен человеку, но даже признан необходимым...»

Жизненная философия Ивана Карамазова — это оправдание эгоизма на основе отрицания религиозно-нравственных норм. И если Раскольников допускал возможность преступления для людей «необыкновенных», то Иван Карамазов считает, что люди безрелигиозные имеют право жить по своим собственным законам, безнаказанно совершая зло.

Атеизм Ивана Карамазова не есть просто интеллектуальное убеждение в том, что Бога нет: он сознательно бунтует против Бога, задавая вопросы о смысле страданий, о роли Церкви в истории, о личности и учении Христа. Это тот самый атеизм, который, по словам Тихона из романа «Бесы», «стоит на предпоследней верхней ступени до совершеннейшей веры». Не случайно именно в уста Ивана Достоевский вкладывает свою главную апологию христианства — «Легенду о Великом Инквизиторе». Из его же уст мы слышим пронзительные слова о страданиях человека, созвучные

мыслям самого Достоевского.

Чтобы понять смысл рассуждений Ивана Карамазова о страданиях, надо обратиться к библейской Книге Иова. Она была одной из любимых у Достоевского: он читал ее и по-славянски, и в русском переводе епископа Вятского Афанасия (Соловьева), увидевшем свет в 1860-61 годах. В 1875 году, в период работы над романом «Подросток», Достоевский пишет жене: «Читаю Книгу Иова, и она приводит меня в болезненный восторг: бросаю читать и хожу по часу в комнате, чуть не плача... Эта книга, Аня, странно это — одна из первых, которая поразила меня в жизни, я был тогда еще почти младенцем».

Иов — один из самых парадоксальных персонажей Библии. Это праведник, которого Бог подвергает испытаниям: сначала лишает его имущества и детей, потом лишает здоровья. Пораженный проказой, он сидит вне города, и к нему приходят друзья, чтобы утешить его и поговорить с ним о Боге. Начинается долгий разговор. Каждый из друзей говорит о Боге правильные вещи: о Его всемогуществе, о Его справедливости, о том, что, если Он посылает страдание, значит, человек это заслужил. А Иов все время говорит неправильные вещи: он ропщет, он протестует, он проклинает день своего рождения, он несогласен с тем, что заслужил выпавшие на его долю испытания.

Читатель книги может ожидать, что под конец Иов осознает правоту аргументов своих друзей. Но происходит нечто совсем неожиданное: Бог является Иову и, не отвечая ни на один из его вопросов, Сам начинает задавать ему вопросы. Суть этих вопросов сводится к тому, что человек не должен меряться силами с Богом, не должен требовать от Бога отчета, оспаривать Его действия, обвинять Его, чтобы оправдать себя. Пораженный этим явлением Божиим, Иов говорит Богу: «Я слышал о Тебе слухом уха; теперь же мои глаза видят Тебя; поэтому я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле» (Иов 42:5-6).

И дальше происходит самое поразительное. Бог обращается к одному из друзей Иова и говорит: «Горит гнев Мой на тебя и на двух друзей твоих за то, что вы говорили о Мне не так верно, как раб Мой Иов» (Иов 42:7). Те, кто говорили правильные слова, пытаясь оправдать Бога в Его действиях, оказываются осуждены. А оправдан тот, кто роптал, кто допытывался истины, кто считал несправедливым посланное ему наказание, кто оспаривал действия Божии.

Свои размышления о значении Книги Иова Достоевский вкладывает в уста старца Зосимы: «Слышал я потом слова насмешников и хулителей, слова гордые: как это мог Господь отдать любимого из святых Своих на потеху диаволу. Но в том и великое, что тут тайна, — что мимоидущий лик земной и вечная истина соприкоснулись тут вместе. Пред правдой земною совершается действие вечной правды. Господи, что это за книга и какие уроки! Что за книга это Священное Писание, какое чудо и какая сила, данные с нею человеку! Точно изваяние мира и человека и характеров человеческих, и названо все и указано на веки веков. И сколько тайн разрешенных и откровенных: восстанавливает Бог снова Иова, дает ему вновь богатство, проходят опять многие годы, и вот у него уже новые дети, другие, и любит он их. Старое горе великою тайной жизни человеческой переходит постепенно в тихую умиленную радость; вместо юной кипучей крови наступает кроткая ясная старость: благословляю восход солнца ежедневный, и сердце мое по-прежнему поет ему, но уже более люблю закат его, длинные косые лучи его, а с ними тихие, кроткие, умиленные воспоминания, милые образы изо всей долгой и благословенной жизни — а надо всем-то правда Божия, умиляющая, примиряющая, всепрощающая!»

В этих словах звучит полная и благодарная покорность воле Божьей, примирение с прошлым, сознание справедливости Божьего суда. Достоевский прошел через тяжелейшее испытание — четыре года каторги, за которыми последовали четыре года принудительной солдатской службы. Все это было наказанием за его участие в кружке петрашевцев. Многим такое наказание виделось несправедливым. Но не самому Достоевскому. Однажды он оказался в петербургской квартире, окна которой выходили на Семеновский плац — то место, где он, приговоренный к расстрелу, стоял на эшафоте. Один из

знакомых, видя его задумчивость, сказал: «Какое, однако, несправедливое дело было эта ваша ссылка». «Нет, справедливое, — горячо отреагировал Достоевский. — Нас бы осудил русский народ. Это я почувствовал только там, на каторге. И почему вы знаете, может быть, там, наверху, Самому Всевышнему нужно было меня повести на каторгу, чтобы я там узнал самое главное, без чего жить нельзя».

Библейский Иов должен был пройти через испытания, чтобы узнать «самое главное». Увенчанием его страданий была встреча с Богом лицом к лицу. Он не получил ответ на свои вопросы, но после личной встречи с Богом живым эти вопросы отпали сами собой. Он увидел жизнь из иной перспективы, взглянул на нее иными глазами.

Центральная тема Книги Иова — страдания человека. За что и почему он страдает? Куда смотрит Бог, когда страдает человек? Можно ли верить в справедливого Бога, если вокруг столько несправедливости и Бог ее попускает? Эти вопросы волновали и Достоевского на протяжении всей жизни. Тема страданий, вопрос о смысле страданий — сквозная тема его творчества. В «Братьях Карамазовых» она поднята с особой силой и остротой.

В разговоре с Алешей Иван Карамазов говорит о страдании детей, приводя в пример пятилетнюю девочку, которую родители «подвергали всевозможным истязаниям. Они били, секли, пинали ее ногами, не зная сами за что, обратили все тело ее в синяки; наконец дошли и до высшей утонченности: в холод, в мороз запирали ее на всю ночь в отхожее место». Иван спрашивает: «Понимаешь ли ты это, когда маленькое существо, еще не умеющее даже осмыслить, что с ним делается, бьет себя в подлом месте, в темноте и в холоде, крошечным своим кулачком в надорванную грудку и плачет своими кровавыми, незлобивыми, кроткими слезками к “Боженьке”, чтобы Тот защитил его?» Вся высшая гармония не стоит «слезинки хотя бы одного только того замученного ребенка».

Алеша не отвечает прямо на вопрос о смысле страдания детей. Но он горячо откликается на слова брата о том, что нет на земле человека, который мог бы простить за злодеяния по отношению к детям: «Брат, — проговорил вдруг с засверкавшими глазами Алеша, — ты сказал сейчас, есть ли во всем мире существо, которое могло бы и имело право простить? Но существо это есть, и оно может все простить, всех и вся и за все, потому что само отдало неповинную кровь свою за всех и за все».

Христос — вот Тот, Чьи страдания придают смысл страданию любого человека. Он — воплотившийся Бог и Он Сам прошел путем страдания и смерти, чтобы искупить людей и открыть им путь к воскресению. Каждый, кто страдает по своей вине или безвинно, может в своих страданиях ощутить Его присутствие.

В Книге Иова говорится, что «человек рождается на страдание, как искры, чтобы устремляться вверх» (Иов. 5:7). Это поэтическое сравнение выражает основную мысль книги — страдание посылается человеку Богом для того, чтобы человек через него приблизился к Богу. И Достоевский в своих произведениях постоянно говорит о том, что только благодаря страданию человек может духовно совершенствоваться, становиться более сострадательным и милосердным к другим, глубже любить и чувствовать. В 1866 году он пишет: «Нет счастья в комфорте, покупается счастье страданием... Человек не рождается для счастья. Человек заслуживает свое счастье, и всегда страданием».

Страдание, если оно воспринимается в христианской перспективе, очищает душу и делает человека подлинным человеком: эта мысль проходит красной нитью через все творчество великого писателя. В то же время, по словам Бердяева, отношение Достоевского к страданию было двойственным. С одной стороны, «творчество Достоевского проникнуто беспредельным состраданием к человеку. Достоевский учит жалости и состраданию. В этом нет ему равного. Никто не был так ранен бесконечным страданием человеческим. Сердце Достоевского вечно сочилось кровью. Ему дано было

познать каторгу, жить среди каторжников, и он всю жизнь свою предстательствовал за человека перед Богом. Страдания невинных детей более всего поражали и ранили его совесть». С другой стороны, «Достоевский менее всего может быть назван сентиментальным, слащавым и расслабляющим гуманистом. Он проповедовал не только сострадание, но и страдание. Он призывал к страданию и верил в искупительную силу страдания. Человек — ответственное существо. И страдание человека не невинное страдание. Страдание связано со злом. Зло связано со свободой. Поэтому свобода ведет к страданию. В страдании видел Достоевский знак высшего достоинства человека, знак свободного существа. Страдание есть последствие зла. Но в страдании сгорает зло».

## Дмитрий

Дмитрий — старший сын Федора Павловича — наиболее близок к нему по характеру и образу жизни. «Пусть он и честный человек, Митенька-то, но сладострастник. Вот его определение и вся внутренняя суть. Это отец ему передал свое подлое сладострастие. Ведь в вашем семействе сладострастие до воспаления доведено», — говорит о нем Ракитин. А сам Дмитрий признается Алеше: «Я всегда переулочки любил, глухие и темные закоулочки, за площадью, — там приключения, там неожиданности, там самородки в грязи. Любил разврат, любил и срам разврата».

Дмитрий занимает особое место в драматичной истории семейства Карамазовых. Его появление на сцене связано с конфликтом между ним и отцом. Выяснение отношений начинается прямо в келье старца Зосимы и приводит к скандалу. Дело доходит до того, что отец угрожает сыну дуэлью, а сын произносит слова: «Зачем живет такой человек». Федор Павлович кричит: «Слышите ли, слышите ли вы, монахи, отцеубийцу». Отец как будто сам подталкивает сына к роковому шагу.

С каждым новым эпизодом напряжение растет. В какой-то момент Дмитрий набрасывается на отца и избивает его. Но не убивает. Алеше же прямо говорит о готовности убить отца: «Может быть, не убью, а может, убью... Личное омерзение чувствую. Вот этого боюсь. Вот и не удержусь». В какой-то момент Дмитрий оказывается в шаге от отца: «Весь столь противный ему профиль старика, весь отвисший кадык его, нос крючком, улыбающиеся в сладостном ожидании губы его, — все это ярко было освещено косым светом лампы слева из комнаты. Страшная, неистовая злоба закипела вдруг в сердце Мити. Личное омерзение нарастало нестерпимо. Митя уже не помнил себя и вдруг выхватил медный пестик из кармана.»

У Дмитрия Карамазова был реальный прототип — Дмитрий Ильинский, с которым вместе Достоевский сидел в каторге. Он был обвинен в отцеубийстве. В «Записках из Мертвого Дома» Достоевский писал о нем: «Особенно не выходит у меня из памяти один отцеубийца. Он был из дворян, служил и был у своего шестидесятилетнего отца чем-то вроде блудного сына. Поведения он был совершенно беспутного, ввязался в долги. Отец ограничивал его, уговаривал; но у отца был дом, был хутор, подозревались деньги, и — сын убил его, жаждая наследства. Преступление было разыскано только через месяц. Разумеется, я не верил этому преступлению. Но люди из его города, которые должны были знать все подробности его истории, рассказывали мне все его дело. Факты были до того ясны, что невозможно было не верить».

Когда Достоевский писал эти слова, он еще не знал, что Ильинский был осужден несправедливо. Во второй части «Записок» он вносит корректив в сказанное об Ильинском: «На днях издатель “Записок из Мертвого Дома” получил уведомление из Сибири, что преступник был действительно прав и десять лет страдал в каторжной работе напрасно; что невинность его обнаружена по суду, официально. Что настоящие преступники нашлись и сознались и что несчастный уже освобожден из острога».

Помимо трех братьев, есть еще четвертый — незаконнорожденный сын Федора Павловича, лакей Смердяков. Он ненавидит всех людей, Россию и весь окружающий мир. Смердяков — это своего

рода двойник Ивана Карамазова, его alter ego. В набросках к роману Иван называется «убийцей», а Смердяков отсутствует. Из этого можно заключить, что, согласно первоначальному замыслу писателя, именно Иван должен был убить отца, и лишь впоследствии эта «миссия» была перепоручена писателем Смердякову. Но это не снимает ответственности с Ивана, ибо Смердяков исполнил то, что было у Ивана в намерениях. «Вы убили, вы главный убивец и есть, а я только вашим приспешником был, слугой Личардой верным, и по слову вашему дело это и совершил», — говорит Смердяков Ивану.

Сюжет романа выстроен таким образом, что все три брата несут ответственность за убийство отца. Смердяков — только исполнитель.

Иван и Дмитрий, каждый по-своему, желали смерти отца, а Алеша ей не воспрепятствовал. Тема ответственности за преступление — одна из постоянных тем в творчестве Достоевского. Однако если в предыдущих романах преступление совершалось одним лицом (Раскольников убивает старуху-процентщицу, Рогожин убивает Настасью Филипповну), то в «Братьях Карамазовых» поднимается сложная тема коллективной ответственности. Выражаясь современным языком, есть исполнитель, есть соучастники, есть заказчик. Кто в «Братьях Карамазовых» является заказчиком? Смердяков считает таковым Ивана. А соучастниками становятся Дмитрий и Алеша. При этом тяжесть наказания падает на Дмитрия, который формально невиновен.

### Алеша

Алеша Карамазов — один из самых светлых образов в русской литературе. Он очень религиозен, хотя «вовсе не фанатик и... даже и не мистик вовсе». На монастырскую дорогу он ступил потому, что «она одна поразила его и представила ему, так сказать, идеал исхода рвавшейся из мрака мирской злобы к свету любви души его», а также потому, что «на ней он встретил... старца Зосиму, к которому привязался всею горячею первою любовью своего неутолимого сердца». Он любил людей и, «казалось, всю жизнь жил, совершенно веря в людей». Он никого ни за что не осуждал: «Явясь по двенадцатому году к отцу, положительно в вертеп грязного разврата, он, целомудренный и чистый, лишь молча удалялся, когда глядеть было нестерпимо, но без малейшего вида презрения или осуждения кому бы то ни было». Он не помнил обид, и «случалось, что через час после обиды он отвечал обидчику или сам с ним заговаривал с таким доверчивым и ясным видом, как будто ничего и не было между ними вовсе». К деньгам он был равнодушен, ибо был «из таких юношей вроде как бы юродивых, которому попади вдруг хотя бы даже целый капитал, то он не затруднится отдать его, по первому даже спросу...»

С первых страниц книги Алеша открывается как евангельский хриstopодобный идеал. Многое роднит его с князем Мышкиным. Однако Достоевский не наделил его чертами болезненности: в отличие от Мышкина, он не был ни эпилептиком, ни «идиотом» в глазах окружающих. Наоборот, «Алеша был в то время статный, краснощекий, со светлым взором, пышущий здоровьем девятнадцатилетний подросток. Он был в то время даже очень красив собою, строен, средневысокого роста, темно-рус, с правильным, хотя несколько удлинненным овалом лица, с блестящими темно-серыми широко расставленными глазами, весьма задумчивый и по-видимому весьма спокойный».

Достоевский не был бы самим собой, если бы оставил Алешу в монастыре. Сам старец Зосима перед кончиной посылает его в мир: «Не здесь твое место пока. Благословляю тебя на великое послушание в миру. Много тебе еще странствовать. И ожениться должен будешь, должен». И Алеша после смерти старца покидает монастырь, чтобы погрузиться в мир карамазовских страстей, но остаться внутренне непобежденным.

Перед тем, как выйти в мир, Алеша у гроба старца переживает некое духовное событие, описанное в главе «Кана Галилейская». Здесь Достоевский пользуется своим излюбленным приемом: нанизывает событийную канву романа на евангельский сюжет. Поздно вечером Алеша входит в келью

старца Зосимы, где лежит его тело. Над ним читается Евангелие — рассказ о том, как на браке в Кане Галилейской Иисус претворил воду в вино (Ин. 2:1-11). Алеша становится на колени, начинает размышлять о рассказе и постепенно погружается в сон. Во сне ему является почивший старец с сияющими глазами, который теперь находится в раю. Он поднимает Алешу с колен и, показывая на собравшихся гостей, говорит: «Веселимся, пьем вино новое, вино радости новой, великой; видишь, сколько гостей?» И затем показывает на Христа, Который сияет, как солнце: «Не бойся Его. Страшен величием пред нами, ужасен высотой Своею, но милостив бесконечно, нам из любви уподобился и веселится с нами, воду в вино превращает, чтобы не пресекалась радость гостей, новых гостей ждет, новых беспрерывно зовет и уже на веки веков». Алеша, уснувший, стоя на коленях, просыпается, стоя на ногах.

Чтобы понять эту сцену, нужно принять во внимание глубокий символизм, с которым в православном богослужении связан рассказ о браке в Кане Галилейской. Этот рассказ воспринимается как прообраз Литургии, на которой хлеб и вино действием Святого Духа претворяются в Тело и Кровь Христа. Литургия — это брачный пир. На него Христос призывает Своих избранников. Здесь они через Причастие соединяются с Ним духовно и телесно. Но одновременно Литургия — это и прообраз того райского блаженства, в котором пребывают те, кто при жизни соединились со Христом. Там они пьют «новое вино» благодати Божией.

Алеша выходит на свежий воздух, и здесь то мистическое переживание, которое началось у гроба старца, продолжается: «Полная восторгом душа его жаждала свободы, места, широты. Над ним широко, необозримо опрокинулся небесный купол, полный тихих сияющих звезд. С зенита до горизонта двоился еще неясный Млечный Путь. Свежая и тихая до неподвижности ночь облегла землю. Белые башни и золотые главы собора сверкали на яхонтовом небе. Осенние роскошные цветы в клумбах около дома заснули до утра. Тишина земная как бы сливалась с небесною, тайна земная соприкасалась со звездною... Алеша стоял, смотрел и вдруг как подкошенный повергся на землю. Он не знал, для чего обнимал ее, он не давал себе отчета, почему ему так неудержимо хотелось целовать ее, целовать ее всю, но он целовал ее плача, рыдая и обливая своими слезами. О чем плакал он? О, он плакал в восторге своем даже и об этих звездах, которые сияли ему из бездны. Как будто нити ото всех этих бесчисленных миров Божиих сошлись разом в душе его, и она вся трепетала, “соприкасаясь мирам иным”. Простить хотелось ему всех и за все и просить прощения, о! не себе, а за всех, за все и за вся. Но с каждым мгновением он чувствовал явно и как бы осязательно, как что-то твердое и незыблемое, как этот свод небесный, сходило в душу его. Пал он на землю слабым юношей, а встал твердым на всю жизнь бойцом...»

Здесь Достоевский описал особый духовный опыт — момент благодатного просветления, которое испытывает человек, когда его осязаемым образом посещает Бог. Вероятно, Достоевский делится здесь собственным опытом, потому что просто придумать, сочинить подобного рода эпизод писатель не мог бы, если бы не пережил его сам.

Впрочем, у этого рассказа мог быть и литературный прообраз. В одном из своих сочинений преподобный Симеон Новый Богослов, византийский писатель-мистик начала XI века, рассказывает о том, как он в молодости был послушником у одного старца и как во время ночной молитвы он перенесся в иной мир, где его осиял небесный свет: «Однажды, когда он стоял и произносил “Боже, милостив буди ми, грешному” скорее умом, чем устами, внезапно явилось сверху обильно Божественное осияние и наполнило все место. Когда это произошло, юноша перестал сознавать себя и забыл, был ли он в доме и находился ли под крышей. Ибо отовсюду видел он только свет... Всецело пребывая в нематериальном свете и, как казалось, сам сделавшись светом и забыв обо всем мире, он преисполнился слез, несказанной радости и ликования. Потом на небо взошел ум его и другой свет увидел — ярче того, который был поблизости. Неожиданно явился ему, стоя близ того света, вышеупомянутый святой и равноангельный старец...» Когда видение кончилось, юноша пришел в

себя, и вскоре возгласил петух: ночь прошла незамеченной.

Достоевский знал этот рассказ и в той части своего повествования, которая касается явления старца Зосимы Алеше Карамазову, мог на него опираться. В той же части, которая касается духовного просветления самого Алеши, следовавшего за видением, он, очевидно, делится собственными воспоминаниями. Возможно, что-то подобное произошло с ним на каторге, из которой он вышел со своим «символом веры», согласно которому «нет ничего прекраснее, глубже, симпатичнее, разумнее, мужественнее и совершеннее Христа».

Через двадцать лет после выхода в свет «Братьев Карамазовых» Лев Толстой напишет роман «Воскресение», который заканчивается описанием духовного перерождения главного героя, Нехлюдова. Эпизод построен по тому же принципу, что и «Кана Галилейская» у Достоевского, только за основу взят другой отрывок из Евангелия: притча о двух должниках (Мф. 18:23-33). Читая эту притчу, Нехлюдов пришел к пониманию того, что жизнь нужно строить по заповедям из Нагорной проповеди, «и давно не испытанный восторг охватил его душу. Точно он после долгого томления и страдания нашел вдруг успокоение и свободу. Он не спал всю ночь и, как это случается со многими и многими, читающими Евангелие, в первый раз, читая, понимал во всем их значении слова, много раз читанные и незамеченные. Как губка воду, он впитывал в себя то нужное, важное и радостное, что открывалось ему в этой книге». И главная мысль, которая озарила его: «Только исполняй люди эти заповеди, и на земле установится царствие Божие, и люди получают наибольшее благо, которое доступно им». С этого момента «началась для Нехлюдова совсем новая жизнь не столько потому, что он вступил в новые условия жизни, а потому, что все, что случилось с ним с этих пор, получало для него совсем иное, чем прежде, значение».

Контраст между «воскресением» Алеши Карамазова и «воскресением» Нехлюдова разителен. В первом случае описано глубокое мистическое переживание, которое не укладывается в рамки рационального познания. Алеша соприкоснулся с миром иным, встретил там своего почившего старца и Самого Христа. Во втором случае описан мыслительный процесс, приводящий к определенному выводу. Герой не выходит за рамки рационального мышления, его «воскресение» носит исключительно рассудочный характер. Соприкосновения с реальностью иного мира не происходит, живого Христа Нехлюдов не встречает.

Рассудочная религиозность Толстого противоположна мистической религиозности Достоевского. Не случайно и то, что именно в романе «Воскресение» Толстой решил кощунственно изобразить самое священное таинство Церкви — Литургию, написав то, что Мережковский назвал «самыми позорными страницами русской литературы». Парадоксальным образом в сознании Толстого уживалось неуважительное, бестрепетное, издевательское и кощунственное отношение к Церкви с чтением Евангелия и извлечением из него нравственных уроков. Для Достоевского же, напротив, реальность Церкви напрямую связана с евангельским образом Христа. С трепетом и благоговением прикасается он к этой реальности в романе «Братья Карамазовы» и оставляет потомству проникновенные описания не только внешнего быта Церкви, но и того внутреннего мистического опыта, который составляет сердцевину ее жизни.

Алеша Карамазов твердо и безоговорочно верит в церковные догматы. Эта вера является источником его радостной, светлой религиозности. Характерен его диалог с Колей Красоткиным после смерти Илюшечки: «Карамазов! — крикнул Коля. — Неужели и вправду религия говорит, что мы все встанем из мертвых, и оживем, и увидим опять друг друга, и всех, и Илюшечку? — Непременно восстанем, непременно увидим и весело, радостно расскажем друг другу все, что было, — полусмеясь, полу в восторге ответил Алеша».

Догмат о всеобщем воскресении был предметом размышлений Достоевского, по крайней мере, со времени смерти его первой жены. Уже тогда он писал о вечной жизни: «Какая она, где она, на какой планете, в каком центре, в окончательном ли центре, то есть в лоне всеобщего Синтеза, то есть Бога?»

— мы не знаем. Мы знаем только одну черту будущей природы будущего существа, которое вряд ли будет и называться человеком... Эта черта предсказана и предугадана Христом, — великим и конечным идеалом развития всего человечества, — представшим нам, по закону нашей истории, во плоти; эта черта: “Не женятся и не посягают, а живут, как ангелы Божии”. Черта глубоко знаменательная».

Под конец жизни, не без влияния Владимира Соловьева, Достоевский пришел к твердой уверенности во всеобщем воскресении. В письме к Н. П. Петерсону от 24 марта 1878 года он говорит: «Воскресение будет реальное, личное... пропасть, отделяющая нас от душ предков наших, засыплется, победится побежденною смертию, и они воскреснут не в сознании только нашем, не аллегорически, а действительно, лично, реально в телах. Я и Соловьев. верим в воскресение реальное, буквальное, личное и в то, что оно сбудется на земле».

В разговоре Алеши с Колей Красоткиным Достоевский не только утверждает веру во всеобщее воскресение, но и сводит старые счеты с Белинским:

— Помилуйте, вы хотите послушания и мистицизма. Согласитесь в том, что, например, христианская вера послужила лишь богатым и знатым, чтобы держать в рабстве низший класс, не правда ли?

— Ах, я знаю, где вы это прочли, и вас непременно кто-нибудь научил! — воскликнул Алеша.

— Помилуйте, зачем же непременно прочел? И никто ровно не научил. Я и сам могу... И если хотите, я не против Христа. Это была вполне гуманная личность, и живи Он в наше время, Он бы прямо примкнул к революционерам и, может быть, играл бы видную роль... Это даже непременно.

— Ну где, ну где вы этого нахватались! С каким это дураком вы связались? — воскликнул Алеша.

— Помилуйте, правды не скроешь. Я, конечно, по одному случаю, часто говорю с господином Ракиным, но. Это еще старик Белинский тоже, говорят, говорил.

— Белинский? Не помню. Он этого нигде не написал.

— Если не написал, то, говорят, говорил. Я это слышал от одного.

Этот диалог, являющийся «отчасти карикатурой, отчасти пародией на мальчишескую психологию взрослых» (Г. Чулков), почти дословно воспроизводит разговор Белинского с Достоевским, имевший место в 1845 году. Другим источником рассуждений Красоткина является письмо Белинского Гоголю, некогда сыгравшее с Достоевским злую шутку. Вкладывая мысли Белинского в уста гимназиста, Достоевский одним этим демонстрирует их наивность и несерьезность. Впечатление лишь усугубляется восторженно-суетливым тоном, с каким Красоткин сыплет своими сентенциями: этот тон призван воспроизвести стиль речи Белинского.

В 1871 году Достоевский писал Страхову о Белинском: «Это было самое смрадное, тупое и позорное явление русской жизни... Вы никогда его не знали, а я знал и видел и теперь осмыслил вполне. Этот человек ругал мне Христа по-матерну, а между тем никогда он не был способен сам себя и всех двигателей всего мира сопоставить со Христом для сравнения. Он не мог заметить того, сколько в нем и в них мелкого самолюбия, злобы, нетерпения, раздражительности, подлости, а главное, самолюбия. Ругая Христа, он не сказал себе никогда: что же мы поставим вместо Него, неужели себя, тогда как мы так гадки. Нет, он никогда не задумался над тем, что он сам гадок. Он был доволен собой в высшей степени, и это была уже личная, смрадная, позорная тупость. Вы говорите, он был талантлив. Совсем нет...»

Достоевский, наверное, многое мог бы простить Белинскому, но не хулы в адрес Христа. Его и тогда, в 45-м, корежило от богохульства Белинского; с годами его негодование лишь нарастало. В «Братьях Карамазовых» он более сдержан, чем в личной переписке, но полное неприятие Белинского

и здесь проявляется с достаточной очевидностью.

Разговор Алеши с мальчиками — завершающая сцена романа «Братья Карамазовы». Это своего рода напутствие Достоевского юношеству и детям. «Русские мальчики», которых он описывает, далеки от Церкви, заражены нигилизмом и атеизмом. По крайней мере, Коля Красоткин. Но в глубине души и он, и другие тянутся к тому светлому религиозному чувству, выразителем которого является Алеша. Младший Карамазов оказывается способен сплотить их, подобно тому, как Христос сплотил вокруг Себя учеников, а значит, надежда на их духовное возрождение, на их возвращение в Церковь не потеряна.

Достоевский был горячим сторонником церковного воспитания детей — такого, какое получил он сам. Спустя три дня после письма Петерсону он пишет неустановленному лицу: «Ваш ребенок 8 лет: знакомьте его с Евангелием, учите его веровать в Бога строго по закону. Это sine qua non<sup>3</sup>, иначе не будет хорошего человека. Лучше Христа ничего не выдумаете». В центре «символа веры» Достоевского стоит Христос, но не оторванный от Церкви, как у Толстого, а Тот, Которого проповедует Церковь. Именно такой смысл имеют слова «строго по закону»: они отсылают к Закону Божию, то есть к церковному вероучению. Достоевский хочет, чтобы «русские мальчики» воспитывались в Церкви и Православии: в этом он видит залог их светлого будущего.

«Русский народ весь в Православии и в идее его. Более в нем и у него ничего нет — да и не надо, потому что Православие все. Православие есть Церковь, а Церковь — увенчание здания: и уже навеки». Эти слова из записной книжки Достоевского перекликаются с его же словами из «Дневника писателя» за 1876 год: «Вникните в Православие, это вовсе не одна только церковность и обрядность, это живое чувство, обратившееся у народа нашего в одну из тех основных живых сил, без которых не живут нации».

А в 1880 году Достоевский пишет о русском народе: «Он все знает, все то, что именно нужно знать, хотя и не выдержит экзамена из катехизиса. Научился же в храмах, где веками слышал молитвы и гимны, которые лучше проповедей. Повторял и сам пел эти молитвы еще в лесах, спасаясь от врагов своих, в Батыево нашествие еще, может быть, пел: “Господи сил, с нами буди!”... И что в том, что народу мало читают проповедей... Зато выйдет поп и прочтет: “Господи, Владыко живота моего” — а в этой молитве вся суть христианства. Главная же школа христианства, которую прошел он, — это века бесчисленных и бесконечных страданий, им вынесенных в свою историю, когда он, оставленный всеми... оставался лишь с одним Христом-утешителем, Которого и принял тогда в свою душу навеки».

Любовь Достоевского к Православию, которую он впитал с молоком матери, но которую в молодости чуть было не утратил под влиянием Белинского, с особой силой проявилась в его жизни и творчестве последних лет. Наиболее яркое воплощение она нашла в образах старца Зосимы и Алеши Карамазова.

## Христос

В романе есть одна фигура, которая долгое время остается как бы за кадром, но в какой-то момент появляется в кадре: это Иисус Христос. Достоевский долго подступался к этому образу. У него было даже намерение написать «книгу об Иисусе Христе», как свидетельствует список будущих произведений, составленный им накануне Рождества 1877 года. К пониманию образа Христа Достоевский пытается приблизиться через образы хриstopодобных людей: князя Мышкина, Тихона, старца Зосимы, Алеши Карамазова. Но настойчивое и многолетнее желание написать что-то о Самом Христе его не оставляло, и он включает в роман «Братья Карамазовы» целую главу, в которой Христос является действующим лицом.

---

<sup>3</sup> Непременное условие (лат.).

Она называется «Великий инквизитор» и представляет собой сочинение Ивана Карамазова, которое он рассказывает вслух своему брату Алеше. В уста человека, заявляющего о себе как атеисте, Достоевский вкладывает глубокое философское осмысление христианства.

Основная тема «Великого инквизитора» могла быть подсказана Достоевскому Владимиром Соловьевым. Великим постом 1878 года Соловьев, молодой христианский философ, выступал с «Чтениями о Богочеловечестве» в петербургском Соляном городке, и Достоевский регулярно посещал эти чтения, пользовавшиеся большим успехом у публики. (Кстати, на одной из лекций присутствовал также Лев Толстой. Когда Достоевский узнал об этом, он искренне сожалел, что его не представили Толстому. При жизни они ни разу не встретились.)

Достоевский любил и ценил Соловьева, отличавшегося, помимо всего прочего, эффектной внешностью, соответствовавшей образу христианского мыслителя. Достоевский говорил, что лицо Соловьева напоминает ему одну из его любимых картин: «Голова молодого Христа» Аннибала Карраччи.

Будучи близкими друзьями, Достоевский и Соловьев неоднократно лично встречались для разговоров на богословские и философские темы. Двое суток по дороге в Оптину пустынь и столько же по дороге обратно они, несомненно, провели в таких разговорах.

В «Чтениях о Богочеловечестве» Соловьев обращается к истории искушения Христа в пустыне. Эта история так описана в Евангелии от Матфея: «Тогда Иисус возведен был Духом в пустыню, для искушения от диавола, и, постившись сорок дней и сорок ночей, напоследок взалкал. И приступил к Нему искушитель и сказал: если Ты Сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами. Он же сказал ему в ответ: написано: не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих. Потом берет Его диавол в святой город и поставляет Его на крыле храма, и говорит Ему: если Ты Сын Божий, бросься вниз, ибо написано: Ангелам Своим заповедает о Тебе, и на руках понесут Тебя, да не преткнешься о камень ногою Твоею. Иисус сказал ему: написано также: не искушай Господа Бога твоего. Опять берет Его диавол на весьма высокую гору и показывает Ему все царства мира и славу их, и говорит Ему: все это дам Тебе, если, пав, поклонись мне. Тогда Иисус говорит ему: отойди от Меня, сатана, ибо написано: Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи. Тогда оставляет Его диавол, и се, Ангелы приступили и служили Ему» (Мф. 4:1-11).

Соловьев так комментирует первое искушение: «...Для существа, подчиненного условиям материального бытия, представляется искушение сделать материальное благо целью, а свою божественную силу средством для его достижения. В ответ на это искушение Христос утверждает, что Слово Божие не есть орудие материальной жизни, а само есть источник истинной жизни для человека. Преодолев это искушение плоти, Сын Человеческий получает власть над всякою плотью». Затем «свободному от материальных побуждений Богочеловеку представляется новое искушение — сделать Свою божественную силу орудием самоутверждения Своей человеческой личности, подпасть греху ума — гордости... Победив грех ума, Сын Человеческий получает власть над умами». Наконец, третье искушение, «последнее и самое сильное»: «Здесь для человеческой воли прямо ставится роковой вопрос: во что она верит и чему хочет служить — невидимой ли силе Божией или силе зла, явно царствующей в мире? И человеческая воля Христа, победив искушение благовидного властолюбия, свободно подчинила себя истинному благу, отвергнув всякое соглашение с царствующим в мире злом. Преодолев грех духа, Сын Человеческий получил верховную власть в царстве духа; отказавшись от подчинения земной силе ради владычества над землею, приобрел Себе служение Сил Небесных».

Достоевский по-своему и по-новому раскрыл смысл трех искушений Христа в «Великом инквизиторе». Действие произведения Ивана Карамазова разворачивается в средневековой Испании. В Севилью, где только что была сожжена на костре чуть ли не сотня еретиков, является Христос. «Он появился тихо, незаметно, и вот все — странно это — узнают Его. Народ непобедимо силой стремится к Нему, окружает Его, нарастает кругом Него, следует за Ним. Он молча проходит среди их

с тихой улыбкой бесконечного сострадания. Солнце любви горит в Его сердце, лучи Света, Просвещения и Силы текут из очей Его и, изливаясь на людей, сотрясают их сердца ответною любовью. Он простирает к ним руки, благословляет их, и от прикосновения к Нему, даже лишь к одеждам Его, исходит целящая сила».

Вот он — тот «сияющий образ Христа», который Достоевский искал всю жизнь, вот Он «пресветлый лик Богочеловека», вот «Его нравственная недостижимость, Его чудесная и чудотворная красота». Перед входом в Севильский собор Христос исцеляет слепого, воскрешает девочку, тихо произнося слова, в Евангелии запечатленные на арамейском языке: «Талифа куми» («Девочка, встань»). И это единственные слова, которые Христос произносит в сочинении Ивана Карамазова.

Далее на сцене появляется девяностолетний старик, кардинал Великий инквизитор, который приказывает арестовать Христа. Начинается Его разговор со Христом, в чем-то напоминающий допрос Христа у римского правителя Понтия Пилата, когда Пилат задавал Ему много вопросов, а Он «не отвечал ему ни на одно слово, так что правитель весьма дивился» (Мф. 27:14). Разница между Пилатом и инквизитором заключается в том, что первый ждал ответов от Иисуса, а второй не ждал. Он выступает как обвинитель, и его речь — это монолог, не предполагающий ответа.

В споре между Христом и дьяволом Великий инквизитор стоит на стороне дьявола. Он считает, что Христос ошибся, отвергнув три искушения, и что в долгосрочной исторической перспективе христианство потерпит поражение. Ты не захотел превратить камни в хлебы, чтобы не отнять у людей свободу, — говорит он Христу, — «ибо какая же свобода, рассудил Ты, если послушание куплено хлебами?» Но «пройдут века и человечество провозгласит устами своей премудрости и науки, что преступления нет, а стало быть, нет и греха, а есть лишь только голодные. “Накорми, тогда и спрашивай с них добродетели!” — вот что напишут на знамени, которое воздвигнут против Тебя и которым разрушится храм Твой. На месте храма Твоего воздвигнется новое здание, воздвигнется вновь страшная Вавилонская башня».

Достоевский не любил католичество, критиковал Римскую Церковь за то, что она увлеклась земным могуществом, забыв о Царстве Небесном. Европейский социализм он считал порождением католичества. В «Дневнике писателя» за 1877 год читаем: «Римское католичество, продавшее давно уже Христа за земное владение, заставившее отвернуться от себя человечество и бывшее таким образом главнейшей причиной матерьялизма и атеизма Европы, это католичество естественно породило в Европе и социализм. Ибо социализм имеет задачей разрешение судеб человечества уже не по Христу, а вне Бога и вне Христа, и должен был зародиться в Европе естественно, взамен упавшего христианского в ней начала, по мере извращения и утраты его в самой Церкви Католической. Утраченный образ Христа сохранился во всем свете чистоты своей в Православии».

Эти же мысли Достоевский развивает в «Братьях Карамазовых», вкладывая в уста ученого иеромонаха Паисия слова о том, что «по иным теориям, слишком выяснившимся в наш девятнадцатый век, Церковь должна переродиться в государство, так как бы из низшего в высший вид, чтобы затем в нем исчезнуть, уступив науке, духу времени и цивилизации. Если же не хочет того и сопротивляется, то отводится ей в государстве за то как бы некоторый лишь угол, да и то под надзором, — и это повсеместно в наше время в современных европейских землях. По русскому же пониманию и упованию надо, чтобы не Церковь перерождалась в государство, как из низшего в высший тип, а напротив государство должно кончить тем, чтобы сподобиться стать единственно лишь Церковью и ничем иным более».

Мысли отца Паисия в данном случае отражают представление самого Достоевского об особой миссии России и Русской Церкви, которое сложилось у него не без влияния Владимира Соловьева. Если Римская Церковь, по представлению Достоевского, восприняла на себя функции государства и тем самым подготовила путь к торжеству науки, рационализма и атеизма, то в России возможно постепенное поглощение государства Церковью и установление такого порядка, при котором в центре

человеческого бытия будет Христос и Его духовнонравственное учение.

В своем отношении к католицизму Достоевский был близок к славянофилам, в частности А. С. Хомякову. Однако острое критики Достоевского в «Великом инквизиторе» направлено не на католичество, а на атеистический социализм, основанный на представлении о возможности построения человеческого счастья без Бога, без духовнонравственных ценностей, на основе одного только «хлеба» — материального благополучия и довольства, купленного ценой потери свободы. И под Вавилонской башней здесь понимается социалистический общественный строй, который декларирует материальное благополучие в качестве основной ценности и отвергает Бога как Источник высшей нравственности.

Человек не создан для свободы, считает инквизитор, «нет у человека заботы мучительнее, как найти того, кому бы передать поскорее тот дар свободы, с которым это несчастное существо рождается». Дай человеку материальное благосостояние, накорми его, «и человек преклонится, ибо ничего нет беспорнее хлеба».

Инквизитор рассказывает, на каком принципе будет построено всеобщее благоденствие: «Получая от нас хлебы, конечно, они ясно будут видеть, что мы их же хлебы, их же руками добытые, берем у них, чтобы им же раздать, безо всякого чуда». Здесь опять мы слышим ясный намек на социалистическую идею: люди своими руками добывают материальные блага; задача социалистического государства заключается в том, чтобы отнять у них прямой доступ к продукту их труда и перераспределять материальные блага по своему усмотрению, так чтобы люди находились в полной зависимости от власти.

Именно на принципе полной зависимости от власти построено общество будущего, которое рисует Великий инквизитор. Это будет общество, где грех будет узаконен и санкционирован властью, при условии полного ей подчинения: «Да, мы заставим их работать, но в свободные от труда часы мы устроим им жизнь как детскую игру, с детскими песнями, хором, с невинными плясками. О, мы разрешим им и грех, они слабы и бессильны, и они будут любить нас как дети за то, что мы им позволим грешить. Мы скажем им, что всякий грех будет искуплен, если сделан будет с нашего позволения... И не будет у них никаких от нас тайн. Мы будем позволять или запрещать им жить с их женами и любовницами, иметь или не иметь детей — все судя по их послушанию — и они будут нам покоряться с весельем и радостью. Самые мучительные тайны их совести — все, все понесут они нам, и мы все разрешим. И все будут счастливы, все миллионы существ...»

Религия в обществе будущего станет не нужна, потому что она построена якобы только на чуде, а чудо станет ненужным. «Есть три силы, единственные три силы на земле, могущие навеки победить и пленить совесть этих слабосильных бунтовщиков, для их счастья, — эти силы: чудо, тайна и авторитет. Ты отверг и то, и другое, и третье», — говорит Великий инквизитор Христу. Отказавшись броситься с крыла храма, а потом отказавшись сойти с креста, Христос не воспользовался возможностью при помощи чуда доказать то, что Он Бог. Он понадеялся на человеческую свободу — на то, что «человек останется с Богом, не нуждаясь в чуде». Но инквизитор считает, что «чуть лишь человек отвергнет чудо, то тотчас отвергнет и Бога, ибо человек ищет не столько Бога, сколько чудес».

Отвергнув предложение дьявола взять власть над всеми царствами мира, Христос, как считает инквизитор, упустил шанс осуществить проект создания всемирного царства, в котором преодолены национальные деления: «Приняв этот третий совет могучего духа, Ты восполнил бы всё, чего ищет человек на земле, то есть: пред кем преклониться, кому вручить совесть и каким образом соединиться наконец всем в бесспорный общий и согласный муравейник, ибо потребность всемирного соединения есть третье и последнее мучение людей. Всегда человечество в целом своем стремилось устроиться непременно всемирно. Много было великих народов с великою историей, но чем выше были эти народы, тем были и несчастнее, ибо сильнее других сознавали потребность всемирности соединения людей. Великие завоеватели, Тимур и Чингисханы, пролетели как вихрь по земле, стремясь завоевать

вселенную, но и те, хотя и бессознательно, выразили ту же самую великую потребность человечества ко всемирному и всеобщему единению. Приняв мир и порфиру кесаря, основал бы всемирное царство и дал всемирный покой».

Как подлинный пророк и провидец, Достоевский прозревает возможность не только создания тоталитарного социалистического муравейника в отдельно взятой стране, но и попыток распространить социалистическую идеологию на весь мир. Не случайно, придя к власти в России, сторонники того учения, с которым горячо полемизировал Достоевский, занялись устройением коммунистического «интернационала». Даже такое развитие событий Достоевский предвидел.

Гениальность Достоевского заключалась в том, что он указал на религиозный характер социалистической идеологии, точнее, на ее псевдорелигиозный характер. Социализм — это лжерелигия, он, по словам Бердяева, «хочет быть новой религией, ответить на религиозные запросы человека. Социализм идет на смену совсем не капитализму... Социализм идет на смену христианства, он хочет заменить собою христианство. Он также проникнут мессианским пафосом и претендует нести благую весть о спасении человечества от всех бедствий и страданий... Внутренняя основа социализма есть неверие в Бога, бессмертие и свободу человеческого духа. Поэтому религия социализма принимает все три искушения, отвергнутые Христом в пустыне. Она принимает соблазн превращения камней в хлебы, соблазн социального чуда, соблазн царства мира сего».

Достоевский не предлагает какую-либо социальную программу. Когда-то, в молодости, он увлекался социализмом, верил в его совместимость с христианством. Теперь он твердо уверен в том, что христианство и атеистический социализм — два противоположных, взаимоисключающих проекта. Об этом он говорил в «Бесах», эта же тема продолжена и развита в «Братьях Карамазовых».

Христос так до конца и молчит, Он ничего не отвечает Великому инквизитору, потому что все ответы Он дал в Евангелии. И Великий инквизитор, не услышав от Него ни слова, отворяет перед Ним дверь и отпускает Его. Так заканчивается поэма Ивана Карамазова. «Поэма твоя есть хвала Иисусу, а не хула... как ты хотел того», — восклицает изумленный Алеша.

## Смерть Достоевского

26 января 1881 года Достоевский писал сотруднику «Русского вестника» Николаю Алексеевичу Любимову: «Так как Вы, столь давно уже и столь часто, были постоянно благосклонны ко всем моим просьбам, то могу ли надеяться еще раз на внимание Ваше и содействие к моей теперешней последней, может быть, просьбе? По счету, присланному мне из редакции “Русского вестника”, мне остается дополучить за “Карамазовых” еще 4000 рублей с чем-то. В настоящее время я крайне нуждаюсь в деньгах». Это письмо свидетельствует, что до конца своих дней писатель испытывал финансовые затруднения и гонорары лишь частично покрывали его расходы.

Письмо оказалось последним, а слова о «последней» просьбе — провидческими. В тот же день у Достоевского началось сильное горловое кровотечение. Он потерял сознание. Когда его привели в себя, он сказал жене: «Аня, прошу тебя, пригласи немедленно священника, я хочу исповедаться и причаститься!» Пришел его духовник, священник Николай Вирославский из Владимирской церкви, где Федор Михайлович в последние годы жизни был регулярным прихожанином. Достоевский долго исповедовался, потом принял Святые Тайны. На следующий день кровотечение не повторялось.

Утром 28 января жена, проснувшись, увидела, что муж пристально смотрит на нее. «Знаешь, Аня, — сказал Федор Михайлович полупшепотом, — я уже часа три как не сплю и все думаю, и только теперь сознал ясно, что я сегодня умру».

Он попросил жену дать ему Евангелие — то самое, которое Наталья Фонвизина подарила ему, когда он прибыл в Тобольский острог. Это Евангелие всегда лежало у него на столе. Часто, задумав что-либо или сомневаясь в чем-то, он открывал Евангелие наугад и читал то, что открылось. Так сделал

он и теперь. Книга открылась на словах: «Иоанн же удерживал его и говорил: мне надобно креститься от Тебя, и Ты ли приходишь ко мне? Но Иисус сказал ему в ответ: не удерживай<sup>4</sup>, ибо так надлежит нам исполнить великую правду» (Мф. 3:11). «Ты слышишь — “не удерживай” — значит, я умру», — сказал Достоевский и закрыл книгу.

Перед смертью он попросился с детьми и благословил их, попросив жену прочитать им притчу о блудном сыне из Евангелия от Луки. Эта притча была им особенно любима, так как в ней он видел отражение своего собственного жизненного пути — от православного воспитания в отчем доме через увлечение социалистическими идеями, повлекшими за собой каторгу и ссылку, к покаянию и возвращению в отчий дом, в объятия милосердного Отца.

Новый Завет, подаренный ему в Тобольском остроге, он велел передать сыну Феде. Был вновь приглашен духовник. Федор Михайлович испустил последний вздох в тот момент, когда священник закончил чтение Последования на исход души. Кончина его была безболезненной, непостыдной, мирной, подлинно христианской.

На следующий день проститься с покойным пришли многие его почитатели. Среди них — художник И. Н. Крамской, которому П. М. Третьяков заказал портрет писателя. Крамской подходил к квартире Достоевского, еще не зная о его смерти. Узнав о ней от дворника, он не развернулся, но вошел в квартиру усопшего, водрузил мольберт у его одра и несколько часов подряд писал его портрет. «На этом портрете Федор Михайлович кажется не умершим, а лишь заснувшим, почти с улыбающимся и просветленным лицом, как бы уже узнавшим не ведомую никому тайну загробной жизни» (А. Г. Достоевская).

На его погребение собрался весь Петербург. Владимир Соловьев выступил на похоронах писателя с пламенной речью, в которой сказал о том, во что верил и что любил почивший: «А любил он прежде всего живую человеческую душу во всем и везде, и верил он, что мы все род Божий, верил в бесконечную силу человеческой души, торжествующую над всяким внешним насилием и над всяким внутренним падением. Приняв в свою душу всю жизненную злобу, всю тяготу и черноту жизни и преодолев все это бесконечной силой любви, Достоевский во всех своих творениях возвещал эту победу. Изведав божественную силу в душе, пробивающуюся через всякую человеческую немощь, Достоевский пришел к познанию Бога и Богочеловека. Действительность Бога и Христа открылась ему во внутренней силе любви и всепрощения, и эту же всепрощающую благодатную силу проповедовал он как основание и для внешнего осуществления на земле того царства правды, которого он жаждал и к которому стремился всю свою жизнь».

Достоевского похоронили на кладбище Александро-Невской лавры. На надгробном памятнике начертали слова, которые он выбрал эпитафией к роману «Братья Карамазовы»: «Истинно, истинно говорю вам: если пшеничное зерно, падши в землю, не умрет, то останется одно; а если умрет, то принесет много плода» (Ин. 12:24).

---

<sup>4</sup> Так в издании 1823 года. В Синодальном русском переводе: «оставь теперь»

## Послесловие

Спустя месяц после кончины Достоевского был убит террористами император-Освободитель Александр II. Россия скатывалась в пропасть безверия, нигилизма и революционной бесовщины. Происходило то, против чего горячо и страстно предостерегал Достоевский. Россия не прислушалась к своему пророку: она выбрала революционный путь и заплатила за этот выбор миллионами жизней. На долгие десятилетия сияющий лик Христа был вычеркнут из народной памяти.

По словам Владимира Соловьева, главной идеей, которой служил Достоевский, «была христианская идея свободного всечеловеческого единения, всемирного братства во имя Христово. Эту идею проповедовал Достоевский, когда говорил об истинной Церкви, о вселенском православии, в ней же он видел духовную, еще не проявленную сущность русского народа, всемирно-историческую задачу России, то новое слово, которое Россия должна сказать миру... Христос не был для него только фактом прошедшего, далеким и непостижимым чудом. Истинное христианство не может быть только домашним, как и только храмовым, — оно должно быть вселенским, оно должно распространяться на все человечество и на все дела человеческие. И если Христос есть действительно воплощение истины, то Он не должен оставаться только храмовым изображением или же только личным идеалом: мы должны признать Его как всемирно-историческое начало, как живое основание и краеугольный камень всечеловеческой Церкви. Все дела и отношения общечеловеческие должны окончательно управляться тем же самым нравственным началом, которому мы поклоняемся в храмах и которое признаем в своей домашней жизни, то есть началом любви, свободного согласия и братского единения. Такое вселенское христианство исповедовал и возвещал Достоевский».

Этот идеал не был им сочинен или придуман: он выстрадал его всей своей многострадальной жизнью. От детской веры через увлечение ложными идеалами и учениями в молодости — вновь к вере, но уже зрелой и осмысленной, закаленной скорбями и испытаниями: таков был путь великого писателя. И Евангелие было для него путеводной звездой, а сияющая личность Христа всегда стояла перед его духовным взором. На эту личность он указывал современникам и потомкам в своем собственном Евангелии — и прежде всего в романах «великого пятикнижия».

Христианское мировосприятие Достоевского подвергалось критике уже при его жизни. Либералы не прощали ему настойчивую проповедь христианской нравственности, резко негативное отношение к атеистическому социализму, революционному движению.

Но и в стане консерваторов не все были довольны им. С резкой критикой обрушился на него писатель и публицист Константин Леонтьев. Ему не нравилось, что Соня Мармеладова только читает Евангелие, а «молебнов не служит, духовников и монахов для совета не ищет; к чудотворным иконам и мощам не прикладывается». И в «Братьях Карамазовых», по мнению Леонтьева, «монахи говорят не совсем то или, точнее выражаясь, совсем не то, что в действительности говорят очень хорошие монахи и у нас, и на Афонской горе, и русские монахи, и греческие, и болгарские». В романе «как-то мало говорится о богослужении, о монастырских послушаниях; ни одной церковной службы, ни одного молебна».

Леонтьев называл христианство Достоевского «розовым» и «сентиментальным». Полемизируя с Достоевским, он писал: «Не полное и повсеместное торжество любви и всеобщей правды на этой земле обещают нам Христос и Его апостолы, а, напротив того, нечто вроде кажущейся неудачи евангельской проповеди на земном шаре, ибо близость конца должна совпасть с последними попытками сделать всех хорошими христианами... Терпите! Всем лучше никогда не будет. Одним будет лучше, другим станет хуже. Такое состояние, такие колебания горести и боли — вот единственная возможная на земле гармония! И больше ничего не ждите. Помните и то, что всему бывает конец. А если будет конец, то какая нужда нам так заботиться о благе будущих, далеких, вовсе даже непонятных нам поколений?.. На что эти младенчески болезненные мечты и восторги? День наш

— век наш! И потому терпите и заботьтесь практически лишь о ближайших делах, а сердечно — лишь о ближних людях: именно о ближних, а не о всем человечестве».

Достоевский в своих записных тетрадях успел отреагировать на эту критику, в частности на идею о том, что «не стоит добра желать миру, ибо сказано, что он погибнет». «В этой идее есть нечто безрассудное и нечестивое. — пишет Достоевский. — Сверх того, чрезвычайно удобная идея для домашнего обихода: уж коль все обречены, так чего уж стараться, чего любить, добро делать? Живи в свое пузо». В нападках Леонтьева Достоевский видит прежде всего зависть: «Тут, кроме несогласия в идеях, было сверх того нечто ко мне завистливое. Да едва ли не единое это и было».

Время расставило все по своим местам. Мало кто знает сегодня, кто такой Константин Леонтьев. А Достоевский является одним из самых читаемых авторов во всей мировой литературе. И то христианское мировосприятие, которое пронизывает его последние романы, не может не отзываться в сердцах миллионов читателей, даже далеких от религии.

Христа и Евангелие Достоевский воспринимал очень лично, через призму своего собственного опыта. И Промыслом Божиим ему, а не Леонтьеву суждено было стать пророком, возвещающим евангельские истины и в XX, и в XXI веке.

Да, Достоевского, по-видимому, мало интересовали «молебны». Но стали бы его читать современники, если бы он описывал в своих романах молебны и панихиды, целование икон и мощей? Читающая публика в его времена была уже достаточно расцерковленной, и Достоевский вводил в свои сочинения религиозную проблематику деликатно и ненавязчиво. Это помогало, да и в наши дни помогает читателям воспринять его слово о Боге, о религии и о Церкви без того отторжения, которым иной раз сопровождается чисто церковная проповедь.

В произведениях Лескова мы находим весь необходимый церковный антураж: здесь есть и молебны, и панихиды, и всенощные, и литургии, и иконы, и мощи, и кадило, и кропило, и ризы, и епитрахили, и камилавки. Но подлинно христианским писателем Лесков так и не стал. По силе воздействия его произведения несопоставимы с романами Достоевского, и круг читателей у него в разы меньше.

Достоевский не был «церковным писателем», не был богословом в традиционном, устоявшемся смысле этого слова. Он был богоискателем. И своего читателя он приглашает искать Бога, искать истину, искать Христа, не обольщаясь ни потребительской идеологией («живи в свое пузо»), ни равнодушием к судьбе будущих поколений («день наш — век наш»), ни учениями, обещающими построить счастье людей без Бога и без Христа («для достижения мира на земле нужно истребить христианскую веру»), ни обожествлением человека («будет новый человек, счастливый и гордый»).

В романе «Братья Карамазовы» Достоевский вплотную подводит читателя к тому христианству, которое существует в устоявшихся формах церковной жизни. И даже если его монахи говорят не совсем то, что говорят монахи на Афоне, в Греции и в Болгарии, это не делает его свидетельство о Церкви менее ценным. Он был первым русским писателем, который глубоко проник в дух русской православной церковности, вошел внутрь монастырских стен, при этом оставшись тем, чем был: писателем, а не богословом.

В отличие от Толстого, Достоевский не пошел по пути учительства, не прельстился ролью выразителя и толкователя истинного христианства. Он вообще не столько давал ответы, сколько ставил вопросы. И предлагал каждому читателю пройти вместе с ним тем путем, который привел его ко Христу через Евангелие.

У Достоевского была мечта. Она выражена в одной из его записных книжек середины 1870-х годов: «Я верую в полное царство Христа. Как оно сделается, трудно предугадать, но оно будет. Я верую, что это царство совершится... И пребудет всеобщее царство мысли и света, и будет у нас в России, может, скорее, чем где-нибудь».

Достоевскому не суждено было увидеть, как сбудется эта мечта. То, что происходило на его глазах, свидетельствовало скорее об обратном: об отходе от Христа значительной части русских людей, об их увлечении нигилистическими и социалистическими идеями.

Как подлинный пророк, он предостерегал, бил в набат. И не уставал напоминать о том, в чем видел спасение России: о сияющем образе Христа, о Его пресветлом лике, Его чудесной и чудотворной красоте.

## **Приложение. Достоевский на Женевском озере**

Федор Михайлович Достоевский оказался в Швейцарии в трудный период жизни, когда, преследуемый кредиторами, был вынужден покинуть Россию и скитаться по городам Европы. В 1864 году умер его брат Михаил, набравший значительное количество кредитов на издание журнала «Эпоха». Федор Михайлович взял на себя обязательства по выплате этих кредитов, которые в противном случае легли бы непосильным бременем на вдову Михаила и ее семерых детей разного возраста. Но денег не было, платили ему мало, а кредиторы безжалостно душили своими требованиями. Чтобы не оказаться в долговой тюрьме, Достоевский ударился в бега.

В Европе он чувствовал себя в относительной безопасности, однако безденежье повсюду давало о себе знать. Зарабатывал он в этот период главным образом тем, что получал авансы за ненаписанные, но обещанные издателям сочинения. Это давало возможность хоть как-то существовать, но затягивало долговую петлю на шею писателя все туже.

В надежде на чудесное избавление от этой ситуации Достоевский играл в рулетку. Иногда он выигрывал большие суммы, но тут же в азарте проигрывал их, оставаясь без гроша в кармане. И тогда снова приходилось одалживаться у издателей, друзей, у собственной жены, отдавать в заклад ее драгоценности, ее и свою одежду.

К этому добавлялись мучительные эпилептические припадки. Они преследовали писателя со времен каторги, на которую он был осужден за участие в кружке петрашевцев. Один припадок мог выбить его из колеи сразу на несколько дней: он терял рассудок, память, способность работать, вынужден был лежать в постели, у него болела голова, он не мог связно говорить. Потом восстанавливался и лихорадочно работал до нового припадка.

В августе 1867 года он поселился в Женеве вместе с молодой женой Анной Григорьевной. Первые впечатления были положительными. Супругам удалось снять небольшую меблированную комнату. Федор Михайлович имел обыкновение работать по ночам, а потому вставал не раньше одиннадцати. Позавтракав с ним, Анна Григорьевна уходила гулять, а он садился за работу. В три часа они обедали в ресторане, после чего она шла отдыхать, а он шел пить кофе и читать русские газеты в кафе на набережной Женевского озера. Потом возвращался домой и работал до вечера. Около семи вечера супруги шли на длинную прогулку: чтобы не уставать, Анна Григорьевна останавливалась возле магазинов, а Федор Михайлович указывал ей на драгоценности, которые он ей непременно подарил бы, если бы был богат. Вечер проходил либо в диктовке нового произведения, либо за чтением французских книг.

Швейцарская Ривьера восхищала Достоевского своими пейзажами, однако его описания Женевского озера скупы и невыразительны: «Озеро удивительно, берега живописны»; «Виды — восхищение!.. Veve, Vernex-Montreux, Shillion и Вильнёв — удивительны<sup>5</sup>. И это в дождь и в град. Что же было бы при солнце! Горы очень высоки и очень снежны. Холод». Достоевскому вообще не свойственно было обращать большое внимание на природу, в его литературных произведениях описания природы встречаются редко. А в Швейцарии ему просто некогда было ею любоваться.

---

<sup>5</sup> Веве, Венре-Монтрё, Шильон, Вильнёв — городки на швейцарском берегу Женевского озера.

Вскоре обнаружилось главное неудобство женеvской жизни — сырой и холодный климат. Жалобами на климат наполнены его письма этого периода: «Я хоть прежде и бывал раза три в Женеве, но в ней не жывал и не знал, что это за климат: решительно по три раза в день меняется погода, и припадкн мои начались вновью»; «...Женева пакость, и я в ней действительно обманулся. Припадкн у меня здесь почти каждую неделю; начинается, кроме того, какое-то скверное сердцебиение. Это ужас, а не город! Это Кайенна. Ветры и вихри по целым дням, а в обыкновенные дни самые внезапные перемены погоды, раза по три, по четыре в продолжение дня. Это геморроидалисту-то и эпилептику! И как здесь грустно, как здесь мрачно».

Очень скоро Женева разонравилась Достоевскому: «Женева стоит из всей Швейцарии на самом пакостном месте»; «Женева — верх скуки. Это древний протестантский город, а впрочем, пьяниц бездна»; «В Женеве, кроме уединения, очень скучно, несмотря на панораму Монблана, Женевского озера и Роны, из него вытекающей»; «Сквернее всего то, что Женева уж слишком скверна; мрачное место. Сегодня воскресенье: ничего не может быть мрачнее и гаже ихнего воскресения»; «Конечно, гаже житья в Женеве ничего и представить нельзя».

В зимние месяцы Достоевские очень страдают не только от ветров снаружи, но и от холода внутри: «Всего более натерпелись мы из материальных неудобств в Женеве от холода»; «5 месяцев в году здесь ужасные холода и бизы (вихри, прорывающиеся сквозь цепь гор). А 3 месяца почти та же зима, как у нас. Дрогнут все от холода, фланель и вату не снимают... одеждой зимней не запасаются, бегают почти в тех же платьях, как и летом (а одной фланели слишком мало для такой зимы), и при всем этом нет ума хоть капельку исправить жилища! Ну что сделает камин с углем или с дровами, хоть топи весь день? А весь день топить стоит 2 франка в день. И сколько лесу истребляется даром, а тепла нет. И что ж? Ведь только бы одни двойные рамы — и даже с каминами можно бы жить! Я уж не говорю — печь поставить. Тогда весь этот лес можно бы спасти. Через 25 лет его совсем не останется. У меня в комнате, при ужасной топке, бывало только +5° Реомюра (пять градусов тепла!). Сидел в пальто и в этом холоде ждал денег, закладывал вещи и придумывал план романа — хорошо?»

Достоевскому в Женеве не нравится все, особенно ее жители. Письма Достоевского из Женевы наполнены непрерывными жалобами на швейцарцев. Достоевский возмущен их бытом, нравами, порядками, увлечениями: «Бань у них никаких, вообразите же нечистоту, к которой они привыкли... Живут как настоящие дикие»; «И какие здесь самодовольные хвастунишки! Ведь это черта особенной глупости быть так всем довольным. Все здесь гадко, гнило, все здесь дорого. Все здесь пьяно! Стольких буянов и крикливых пьяниц даже в Лондоне нет»; «О, если б Вы знали, как глупо, тупо, ничтожно и дико это племя!.. Страшная посредственность во всем; работник здешний не стоит мизинца нашего: смешно смотреть и слушать. Нравы дикие; о если б Вы знали, что они считают хорошим и что дурным. Низость развития: какое пьянство, какое воровство, какое мелкое мошенничество, вошедшее в закон в торговле».

Политическая система Швейцарии, представляющей собой конфедерацию полуавтономных кантонов, тоже не мила Достоевскому: «Буржуазная жизнь в этой подлой республике развита до plus-ultra<sup>6</sup>. В управлении и во всей Швейцарии — партии и грызня непрерывная, пауперизм<sup>7</sup>...»

Наконец, Достоевскому не нравятся «женевские идеи». Под ними он понимает совокупность взглядов, носителями которых являются разного рода анархисты, социалисты и революционеры, в том числе русского происхождения. Швейцария с ее либеральной политической системой давно стала для них прибежищем. Здесь подолгу жил анархист Михаил Бакунин, призывавший к свержению самодержавия. Здесь Герцен печатал свою газету «Колокол». В Женеве происходили сходки революционеров разных стран. На одну такую сходку попал Достоевский.

<sup>6</sup> Донельзя (лат.).

<sup>7</sup> Пауперизм (от лат. pauper — бедный) — массовая бедность.

Она называлась «Конгресс Лиги мира и свободы» и проходила в Женеве в сентябре 1867 года. 10 сентября с пламенной речью на конгрессе выступил Бакунин: «... Я, русский, открыто и решительно протестовал и протестую против самого существования русской империи. — говорил он. — Этой империи я желаю всех унижений, всех поражений, в убеждении, что ее успехи, ее слава были и всегда будут прямо противоположны счастью и свободе народов русских и не русских, ее нынешних жертв и рабов. Я довожу до конца логику постановленных мною принципов. Признавая русскую армию основанием императорской власти, я открыто выражаю желание, чтобы она во всякой войне, которую предпримет империя, терпела одни поражения».

Достоевский посетил конгресс на следующий день после бакунинского выступления и имел возможность познакомиться с его идеями, а также с идеями других революционеров и анархистов. Он был возмущен тем, что услышал, и своими впечатлениями поделился со старым другом поэтом Аполлоном Майковым: «Писал ли я Вам о здешнем “Мирном конгрессе”? Я в жизнь мою не только не видывал и не слыхивал подобной бестолковщины, но и не предполагал, чтоб люди были способны на такие глупости. Всё было глупо: и то как собрались, и то как дело повели и как разрешили. Разумеется, сомнения и не было у меня в том, еще прежде, что первое слово у них будет: драка. Так и случилось. Начали с предложений вотировать, что не нужно больших монархий и всё поделать маленькие, потом что не нужно веры и т. д. Это было 4 дня крику и ругательств. Подлинно мы у себя, читая и слушая рассказы, видим всё превратно. Нет, посмотрели бы своими глазами, послушали бы своими ушами!»

Своей племяннице Софье Ивановой Достоевский писал: «Я сюда попал прямо на Конгресс Мира, на который приезжал и Гарибальди. Гарибальди скоро уехал, но что эти господа, — которых я в первый раз видел не в книгах, а наяву, — социалисты и революционеры, ввали с трибуны перед 5000 слушателей, то невыразимо! Никакое описание не передаст этого. Комичность, слабость, бестолковщина, несогласие, противуречие себе — это вообразить нельзя! И эта-то дрянь волнует несчастный люд работников!»

Дополнительные подробности приводятся в письме давнему другу Сергею Яновскому: «В зале, который мог бы вместить три или четыре тысячи человек, с высокой трибуны разглагольствовали разные господа, которые решали судьбу человечества... Сразу же было решено, что, дабы мир воцарился, необходимо истребить огнем и мечом папу и всю христианскую религию. Затем: поскольку великие державы показали, что не могут существовать, не имея больших армий и не ведя войн, надо их разрушить и заменить маленькими республиками; затем надо уничтожить огнем и мечом капитал, а равно и всех тех, кто не всецело разделяет этот взгляд. Среди присутствовавших нашлись такие, которые, наслушавшись этой бестолковщины, попытались возражать; им помешали. Начали голосовать: революционеры остались в жалком меньшинстве, но комитет с нескрываемым цинизмом подтасовал голоса и заявил, что революционеры — в большинстве. Не могу понять, почему подобные конгрессы запрещены во Франции. Пусть взбаламученные и доведенные до неистовства этими проповедниками бедняки поймут наконец, на что способны подобные подстрекатели, могут ли они сказать или сделать что-либо серьезное и полезное. Ибо конгресс этот ясно показал, чего стоят все эти престарелые изгнанники и социалисты, и особенно хорошо дал почувствовать, какими силами они располагают и что никто за ними не пойдет, кроме таких же безумцев».

Достоевский, как видно, остался под большим впечатлением от сходки революционеров и анархистов. В молодости он сам прошел через увлечение социалистическими идеями, за что поплатился четырьмя годами каторги и пятью годами солдатчины. На каторге у него произошло «перерождение убеждений», он стал убежденным монархистом, а главное — окончательно и бесповоротно обратился ко Христу.

Революционная идеология была для Достоевского неприемлемой не только потому, что она отвергала монархический строй, но прежде всего потому, что она была глубоко антихристианской по своей сути.

В романе «Подросток» есть такой диалог:

— Вы раз говорили про «женевские идеи»; я не понял, что такое «женевские идеи»?

— Женевские идеи — это добродетель без Христа, мой друг, теперешние идеи или, лучше сказать, идея всей теперешней цивилизации.

Для Бакунина отрицание религии было связано с идеей свободы. «Если есть Бог, то я не свободен, но если я свободен — значит, Бога нет», — писал он. Достоевский, напротив, не мыслит никакой свободы без Бога или Христа. И он не верит в справедливое переустройство общества без Христа, а в призывах к достижению мира путем отказа от христианской веры видит обман и безумие.

Достоевский решительно отвергает идею революционного переворота ради достижения мира и прогресса, выступая сторонником поступательного эволюционного развития общества на основах христианской нравственности.

При этом Достоевский общается с Огаревым и иногда пересекается с Герценом. В дневнике Анны Григорьевны за 1867 год встречи Достоевского с Огаревым упоминаются неоднократно. Нередко они были случайными: «Сегодня Федя встретил Огарева, и тот спросил, был ли Федя на конгрессе, Федя отвечал, что он ведь не член, тот отвечал, туда пускают за 25 сантимов. Ну, Федя сказал: “Тогда я, конечно, пойду”»; «Здесь на улице встретили Огарева. Он был что-то очень веселый и от него несколько пахло вином. Федя мне после сказал, что это у них, литераторов, такая замашка и, вероятно, этому его научил Герцен. Федя уверен, что как только он ни сходил с Герценом, вечно они расходились пьяные, так было в последний раз, когда Федя с ним встретился на пароходе и Огарев оставался с ним на несколько минут»; «Гуляли по саду и встретили здесь Огарева; он куда-то спешил, но увидел нас и раскланялся; Федя говорит, что он его всегда видит в кофейной, попивающим кофе с коньяком, от чего все они какие-то пьяненькие»; «Когда мы шли с почты, нам попался Огарев. Мы уж давно собирались спросить у него русских книг, но Федя как-то все забывал, я сегодня и спросила. Он отвечал, что с удовольствием даст, кое-какие там выберет, что непременно даст».

Вечно нуждавшийся в деньгах, Достоевский редко у кого не просил денег взаймы. Огарев не стал исключением: «Федя видел Огарева и просил у него денег, хотел спросить 300 франков, но тот даже ужаснулся, услышав о такой громадной для него сумме; наконец, сказал, что, может быть, даст франков 60, но не раньше, как послезавтра, да и то не наверно, так что, может быть, даже и не принесет. Право, эдакий богач, а какие-нибудь 100 франков могут так затруднить».

В либеральной Женеве, вдали от Родины, страдая от холода, сырости и эпилептических припадков, Достоевский начинает работу над одним из главных своих произведений — романом «Идиот». Главный герой романа, князь Мышкин, страдает тяжелым психическим заболеванием. Долгое время он был «идиотом», то есть был лишен рассудка, но лечение в психиатрической клинике в Швейцарии принесло свои плоды, и он возвращается в Россию, чтобы начать новую жизнь. От прежней болезни остаются только эпилептические припадки, жертвой которых он становится время от времени. Сюжет романа происходит в Павловске и Петербурге, где князь погружается в мир человеческих страстей — чужих и своих — и в конце концов не выдерживает их натиска. Развязкой романа становится возвращение князя в идиотическое состояние. В эпилоге он возвращается в Швейцарию — туда, откуда прибыл.

Это роман-притча. Работа над ним началась с горячего желания Достоевского изобразить человека, в своем поведении и образе мыслей максимально приближающегося к христианскому идеалу. В черновых записях к роману он так и назван: «князь Христос». Мышкин — не от мира сего, он живет не по законам борьбы за существование, а по евангельским законам любви и всепрощения. Он равнодушен к деньгам, не замечает недостатки людей, всех любит высшей, христианской любовью. Но мир, в который он попадает, выталкивает его, и в конце концов он возвращается туда, откуда пришел.

Швейцария в романе упоминается многократно. В отличие от Достоевского, не скупившегося на инвективы в адрес Швейцарии и швейцарцев. Мышкин никогда не говорит о Швейцарии плохо. В то же время, он никогда и не раскрывает никаких подробностей о том, как живут люди в этой стране. Швейцария в романе остается неким мифическим царством.

Собеседники Мышкина, судя по всему, разделяют установившееся в русской литературе со времен Карамзина и Жуковского представление о Швейцарии как стране счастливых людей, живущих в гармонии с прекрасной природой. Генеральша Епанчина просит Мышкина:

— Расскажите, как вам понравилась Швейцария, первое впечатление.

— Впечатление было сильное... — начинает князь, но его тут же перебивают.

И затем рассказывает не столько о Швейцарии, сколько о своей болезни:

— Первое впечатление было очень сильное. Когда меня везли из России, чрез разные немецкие города, я только молча смотрел и, помню, даже ни о чем не спрашивал. Это было после ряда сильных и мучительных припадков моей болезни, а я всегда, если болезнь усиливалась и припадки повторялись несколько раз сряду, впадал в полное оупение, терял совершенно память, а ум хотя и работал, но логическое течение мысли как бы обрывалось. Больше двух или трех идей последовательно я не мог связать сряду. Так мне кажется. Когда же припадки утихали, я опять становился и здоров и силен, вот как теперь. Помню: грусть во мне была нестерпимая; мне даже хотелось плакать; я всё удивлялся и беспокоился: ужасно на меня подействовало, что всё это чужое; это я понял. Чужое меня убивало.

В этих словах князя Мышкина нельзя не увидеть отражение собственного опыта Достоевского. Швейцария была для него, прежде всего, чужбиной. Жил он в стесненных условиях, и насладиться швейцарским счастьем не мог. А постоянные припадки эпилепсии делали его пребывание там почти нестерпимым.

Вот еще один характерный диалог из того же романа:

— Ганя говорит, вы сегодня из Швейцарии?

— Да.

— А хорошо в Швейцарии?

— Очень.

— Горы?

— Да.

— Я вам сейчас ваши узлы притащу.

Это диалог Мышкина с Колей, простодушным мальчиком, который помогает ему донести вещи. Из слов Мышкина следует, что в Швейцарии очень хорошо: кому-то, но, видимо, не ему. А все, что Мышкин может сказать о швейцарской природе, сводится к утвердительному ответу на вопрос, есть ли там горы.

Начало работы над «Идиотом» совпало по времени с первой беременностью Анны Григорьевны. Но страсть к рулетке не оставляет Федора Михайловича. В октябре 1867-го он едет в Саксон-ле-Бэн, выигрывает там 1300 франков, а затем тут же проигрывает не только их, но и остальные деньги. Анне Григорьевне он пишет: «Аня, милая, я хуже чем скот! Вчера к 10 часам вечера был в чистом выигрыше 1300 фр. Сегодня — ни копейки. Всё! Всё проиграл!» У него, впрочем, остается 14 франков, чтобы доехать обратно до Женевы.

В ноябре он снова в Саксон-ле-Бэн, и снова отчаянное письмо: «Аня, милая, бесценная моя, я всё проиграл, всё, всё! О, ангел мой, не печалься и не беспокойся! Будь уверена, что теперь настанет наконец время, когда я буду достоин тебя и не буду более тебя обкрадывать, как скверный, гнусный

вор!» На этот раз у него нет денег даже на дорогу обратно, и он просит жену прислать 50 франков. Клянется, что все исправит.

Декабрь и январь посвящены напряженной работе над «Идиотом», проходящей на фоне последних месяцев беременности Анны Григорьевны. Наконец, 22 февраля 1868 года рождается долгожданная дочь, которую назвали Соней. Достоевскому шел сорок сельмой год, когда он впервые стал отцом. Его счастьем не было предела. По воспоминаниям жены, «Федор Михайлович оказался нежнейшим отцом; он непременно присутствовал при купании девочки и помогал мне, сам завертывал ее в пикейное одеяльце и зашпиливал его английскими булавками, носил и укачивал ее на руках и, бросая свои занятия, спешил к ней, чуть только слышит ее голосок. Первым вопросом при его пробуждении или по возвращении домой было: “Что Соня? Здорова? Хорошо ли спала, кушала?” Федор Михайлович целыми часами просиживал у ее постельки, то напевая ей песенки, то разговаривая с нею, причем, когда ей пошел третий месяц, он был уверен, что Сонечка узнаёт его».

Но через месяц после рождения дочери Достоевский вновь в Саксон-ле-Бэн. И снова катастрофа: «Милый мой ангел Нютя, я всё проиграл как приехал, в полчаса всё и проиграл. Ну что я скажу тебе теперь, моему ангелу Божьему, которого я так мучаю. Прости, Аня, я тебе жизнь отравил! И еще имею Соню!» И снова просит денег на обратную дорогу.

В ожидании денег Достоевский делится с женой планами на будущее. Он намеревается написать в Москву издателю Михаилу Каткову и попросить у него пять с лишним тысяч рублей за пока еще не написанный роман «Идиот», который будет написан к осени. На эти деньги он намерен «переехать недалеко, два шага от Женевы, в город Вевей, на правом берегу озера, где нет биз и резких перемен климата». Свое предложение он мотивирует так: «Женева мне опротивела. В Вевее же мы будем как в деревне, как на даче. Я буду писать день и ночь, и новое место меня надолго успокоит, припадки в прелестном климате утихнут, женевская тоска пройдет, может быть... Между тем ты там поправишься тоже здоровьем в хорошем климате, и мы к окончанию романа выкормим и укрепим Соню».

Но этим планам суждено было сбыться лишь отчасти. К тому моменту, когда Достоевские переехали в Веве, маленькой Сони уже не было в живых. В начале мая, когда стояла прекрасная солнечная погода, Достоевские каждый день по совету доктора вывозили дочку в парк. Но однажды во время такой прогулки погода резко изменилась, налетел тот самый холодный ветер, на который Достоевские всегда жаловались, девочка начала кашлять и у нее повысилась температура. Детский врач регулярно наносил визиты и уверял, что ребенок поправится, а Федор Михайлович почти не отходил от колыбели. Но 12 мая днем девочки не стало.

Горю супругов не было предела. «Я не в силах изобразить того отчаяния, которое овладело нами, когда мы увидели мертвую нашу милую дочь, — вспоминала Анна Григорьевна впоследствии. — Глубоко потрясенная и опечаленная ее кончиною, я страшно боялась за моего несчастного мужа: отчаяние его было бурное, он рыдал и плакал, как женщина, стоя пред остывавшим телом своей любимицы, и покрывал ее бледное личико и ручки горячими поцелуями. Такого бурного отчаяния я никогда более не видала. Обоим нам казалось, что мы не вынесем нашего горя».

Следующие два дня были посвящены хождению по инстанциям за разрешением на похороны ребенка. На третий день в русском Крестовоздвиженском храме состоялось отпевание. Похоронили девочку на кладбище Плен-Пале, могила ее сохранилась там до сего дня.

Достоевский был безутешен. «Это маленькое, трехмесячное создание — такое бедное, такое крошечное — для меня было уже лицо и характер, — писал он Майкову. — Она начинала меня знать, любить и улыбалась, когда я подходил. Когда я своим смешным голосом пел ей песни, она любила их слушать. Она не плакала и не морщилась, когда я ее целовал; она останавливалась плакать, когда я подходил. И вот теперь мне говорят в утешение, что у меня еще будут дети. А Соня где? Где эта

маленькая личность, за которую я, смело говорю, крестную муку приму, только чтоб она была жива?»

После похорон Сонечки все-таки состоялся переезд в Веве. Но он не принес утешения супругам: «городишка дрянной, в 4000 жителей, и по несчастию нашему опять в дрянь попали (всё мне здесь гадко!); «Здесь воздух, расстраивающий нервы... Правда, для здоровья в Женеве. было несравненно хуже. Поживем немного, а там посмотрим, не умирать же».

Достоевский отдает должное красотам берега Женевского озера, но для него это не более чем внешняя декорация: «Жаров здесь нет; панораму озера Вы знаете; в Вевее она положительно лучше, чем из Монтрё и Шильона, которые рядом. Но, кроме этой панорамы (и правда, еще некоторые места есть в горах для прогулки, чего не было в Женеве), — остальное всё слишком гадко, и за одну панораму мы боимся слишком дорого заплатить»; «Что же касается до Вевея, то Вы, может быть, и знаете — это одна из первых панорам в Европе. В самом роскошном балете такой декорации нету, как этот берег Женевского озера, и во сне не увидите ничего подобного. Горы, вода, блеск — волшебство. Рядом Монтрё и Шильон. (“Шильонский узник”, не помните ли старый перевод Жуковского). Но скверно то, что в Вевее раздражаются нервы, и скоро предрекают сильные жары (а мне именно в это время надо будет работать). Гулять есть где, если захочешь, а купаться опять-таки нельзя: признано докторами, что озерная вода расслабляет организм. Наконец, газет русских нет в Женеве, а для меня это очень важно. Книжная лавка одна. Галерей, музеев и духу нет: Бронницы или Зарайск! — вот Вам Вевей. Но Зарайск, разумеется, и богаче и лучше. Тут только один из самых первых в Европе ландшафтов и больше ничего».

И все-таки постепенно Достоевский втягивается в работу над «Идиотом», прерванную болезнью и смертью дочери. Пять тысяч были получены от Каткова, но под обязательство закончить роман, и теперь Достоевский был вынужден писать с утра до вечера, преодолевая личные переживания, насилуя свой подорванный болезнью организм, превозмогая последствия эпилептических припадков.

Прожив почти год в Швейцарии, Достоевский не изменил своих взглядов на швейцарцев. Из Веве он пишет Майкову: «О, если б Вы понятие имели об гадости жить за границей на месте, если б Вы понятие имели об бесчестности, низости, невероятной тупости и неразвитости швейцарцев. Конечно, немцы хуже, но и эти стоят чего-нибудь! На иностранца смотрят здесь как на доходную статью: все их помышления о том, как бы обманывать и ограбить. Но хуже всего их нечистоплотность! Киргиз в своей юрте живет чистоплотнее (и здесь в Женеве). Я ужасаюсь; я бы захохотал в глаза, если б мне сказали это прежде про европейцев. Но черт с ними! Я ненавижу их дальше последнего предела!»

В сентябре 1868 года Достоевский покидает ненавистную Швейцарию и отправляется в Милан. К этому времени значительная часть романа «Идиот» уже написана и опубликована. Но вернуться в Россию он по-прежнему не может: «В Россию воротиться — трудно и помыслить. Никаких средств. Это значит как приехать, так и попасть в долговое отделение. Но ведь я уж там не рабочий. Тюрьмы я с моей падучей не вынесу, а стало быть, и работать в тюрьме не буду».

Странствия Достоевского по Европе продолжают. После Милана он едет во Флоренцию, далее следуют Венеция, Триест, Вена, Прага, Дрезден. Лишь в июле 1871 года он выезжает в Петербург.

Будучи в Дрездене, он узнает об убийстве в Москве студента Иванова террористом Нечаевым. Об этом ему рассказывает брат Анны Григорьевны, который был знаком с Ивановым. И Достоевский замышляет новый роман, который хочет посвятить революционному подполью. В романе он надеется обобщить свой опыт общения с социалистами и революционерами, начиная от кружка петрашевцев, кончая носителями «женевских идей», которых он слушал в Лозанне.

Один из героев романа, Петр Верховенский, прототипом которого был Нечаев, связан с Женевой: «Сначала, кончив курс в университете, лет шесть тому назад, он слонялся в Петербурге без

дела. Вдруг получилось у нас известие, что он участвовал в составлении какой-то подметной прокламации и притянут к делу. Потом, что он очутился вдруг за границей, в Швейцарии, в Женеве, — бежал чего доброго».

Из разговора Верховенского с губернатором Лембке становится понятно, чем он занимался в Швейцарии:

— Эх, Андрей Антонович, если бы знало правительство, какие это сплошь люди, так на них бы рука не поднялась. Всех как есть целиком на седьмую версту<sup>8</sup>; я еще в Швейцарии да на конгрессах нагляделся.

— Там, откуда управляют здешним движением?

— Да кто управляет-то? три человека с полчеловеком. Ведь, на них глядя, только скука возьмет.

Совершив убийство Шатова (прототипом которого был студент Иванов), Верховенский возвращается в Швейцарию.

Другой герой романа, Николай Ставрогин, тоже часть жизни провел в Швейцарии и даже стал гражданином кантона Ури, что сближает его с Герценом, получившим гражданство кантона Фрибург. Его самоубийством заканчивается роман: «Гражданин кантона Ури висел тут же за дверцей. На столике лежал клочок бумаги со словами карандашом: “Никого не винить, я сам”. Тут же на столике лежал и молоток, кусок мыла и большой гвоздь, очевидно припасенный про запас. Крепкий шелковый снурок, очевидно заранее припасенный и выбранный, на котором повесился Николай Всеволодович, был жирно намылен. Всё означало преднамеренность и сознание до последней минуты. Наши медики по вскрытии трупа совершенно и настойчиво отвергли помешательство».

Не случайно в этой финальной сцене Ставрогин назван гражданином кантона Ури. Достоевский хочет, чтобы таинственная связь русского революционного подполья со Швейцарией не ускользала от внимания читателя до последних строк романа. И в этом есть свой символизм. Таким изощренным способом Достоевский отомстил Швейцарии за все невзгоды, которые выпали на его долю в этой стране.

Но главное, что хотел показать Достоевский, это то, что революционное движение является для России инородным: оно не рождается из недр народной совести, а пестуется окопавшимися за границей борцами за социальную справедливость. Там, на конгрессах, они рассуждают о благе русского народа, при этом будучи далеки от его реальной жизни.

История пребывания Федора Михайловича Достоевского на берегах Женевского озера резко контрастирует с тем представлением о швейцарском счастье, которое закрепилось в русской литературе со времен Карамзина и Жуковского. По крайней мере, если даже вокруг все были счастливы, сам он был здесь глубоко несчастен по целому ряду объективных и субъективных причин.

В то же время, это был очень плодотворный для него период. Здесь он еще более укрепился в своем неприятии революционной идеологии и в своей глубокой любви ко Христу. Здесь был им создан один из самых хриstopодобных образов во всей мировой литературе — образ князя Мышкина. Отсюда же незримые нити протягиваются к роману «Бесы», где с пророческой силой Достоевский изобразил грядущую русскую революцию.

С революционерами заигрывали и революционным идеям сочувствовали многие деятели русской культуры, включая Белинского, Герцена, Тургенева и Толстого. Феномен революционного движения они не рассматривали из религиозной перспективы, как это сделал Достоевский, и нравственные идеалы социалистов не мерили мерилom Христовой истины. А потому и проглядели то, что он увидел и предсказал за полвека до того, как произойдет революция, которая принесет русскому народу неисчислимые бедствия.

---

<sup>8</sup> На седьмой версте от Петербурга находился сумасшедший дом.